

учебных пособиях. Эти работы отмечаются и в передовых зарубежных трудах по истории русской литературы и общественной мысли.

Автор настоящих статей ни в какой мере не склонен, однако, преувеличивать результаты своих разысканий. Роль его личного почина в этом отношении более чем скромна. Как и все советские историки и филологи старшего поколения, он в своем политическом и научном развитии особенно обязан Великой Октябрьской социалистической революции, не только широко открывшей двери в тайники наших государственных и частных архивов, но и вооружившей исследователей той методологией, без усвоения которой не могло быть обеспечено сколько-нибудь правильное решение занимавших их больших и малых проблем истории русской литературы. Поиски этих решений, проходившие в условиях долгой и упорной борьбы, с одной стороны, с субъективно идеалистическими концепциями буржуазных историков и литературоведов, а с другой — с теорией и практикой социологического импрессионизма, получили отражение и в статьях настоящего сборника.

Исследования и материалы, включенные в сборник «От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»», перепечатываются отнюдь не механически. Как в основной их текст, так и в примечания внесены все те дополнения, уточнения и поправки, необходимость которых обуславливалась, во-первых, появлением в печати неизвестных ранее источников (художественные произведения, письма, мемуары, политические документы), а во-вторых, новой литературой предмета, развивавшей наши наблюдения и выводы, или, наоборот, полемизировавшей с ними. Кроме того, за истекшие три-четыре десятилетия появилось много новых изданий и авторитетных переизданий классиков, много новых сборников первоисточников и био-библиографических справочников, что, в свою очередь, потребовало прозвочки и освежения прежнего текстологического и библиографического аппарата.

В процессе переработки статей были приняты во внимание все печатные отклики на их первые публикации, а также некоторые устные и письменные замечания моих учителей, друзей и учеников.

7 февраля 1959 г.

Москва.

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД „ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА“ И ПОВЕСТЬЮ „КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА“

Пугачевщина как объект политических и литературных интересов, научно-исследовательских разысканий и широких художественных построений является в творческой биографии Пушкина тридцатых годов темой бесспорно стержневой и в проблематике советского пушкиноведения одной из наиболее ответственных и актуальных.

Между тем до сих пор не только не изучены, но даже не описаны и не опубликованы многие из тех документальных, мемуарных и фольклорных первоисточников истории восстания Пугачева, которые были выявлены, объединены, а частью и впервые закреплены на бумаге самим Пушкиным. В числе этих материалов акты столичных и провинциальных архивов, документы государственных собраний и частных коллекций, выписки из следственных дел, рассказы живых свидетелей и непосредственных участников событий.

Круг информаторов Пушкина исключительно широк и необычен — в него входят, с одной стороны, кадровые пугачевцы, герои и жертвы восстания, с другой — такие очевидцы происшествий 1773—1774 гг., как великий русский писатель И. А. Крылов, как поэт И. И. Дмитриев, как усмирители восстания Пугачева и его пленники, офицеры царской армии, волжские помещики, чиновники и купцы.

Мы имеем все основания утверждать, что именно рукописи Пушкина, связанные с историей пугачевщины, материалы его записных книжек, всякого рода заметки, выписки и конспекты уясняют сейчас гораздо живее, чем позднейшая подцензурная «История Пугачевского бунта», все

то, что особенно занимало Пушкина в летописях последней крестьянской войны, позволяют резко определить, с каких позиций реагировал великий поэт на той или иной ее этап, как расценивал ее вождей, ее друзей и врагов, их политическую и социальную базу, их лозунги и перспективы.

Не знаем мы до сих пор и причин, ближайшим образом обусловивших обращение Пушкина к событиям крестьянской революции 1773—1774 гг., или, точнее, располагаем такими ответами на этот вопрос, которые свидетельствуют или об исключительной наивности комментаторов «Истории Пугачева», или о тенденциознейших искажениях ими основных фактов работы Пушкина над этой книгой

1. „БИОГРАФИЯ А. В. СУВОРОВА“ ИЛИ „ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА?“

Академик Я. К. Грот, публикуя переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, формулировал еще в 1862 г. тезис о том, что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», что лишь в процессе реализации этого замысла он заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации «мятежа Пугачева» и что только обилие интересных неизданных материалов о событиях 1773—1774 гг. заставило Пушкина отказаться от его начального плана и перейти от генералиссимуса Суворова к Емельке Пугачеву¹.

Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина»², вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики»³, безоговорочно утвердилась в специальной литературе⁴ и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «История Пугачевского бунта».

«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно,— удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов.— Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабаты-

вать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, обаятельная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородин и Кавказа — генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным «генералиссимусом», но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным «История Суворова» привела поэта к «Истории Пугачева». Как это случилось? Несколькими справками разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, «неутомимому» Суворову приписывалось «взятие самозванца и конечное прекращение мятежа». Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать «Историю графа Суворова», пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой «истории» и «следственное дело о Пугачеве». 29 февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петербургского архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымнического. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя — Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, по-видимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более, что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою «Историю Пугачевского бунта» как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил *какого*, — вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова»⁵.

Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. Н. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании предисловия Пушкина к «Истории пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с генерал-адъютантом А. И. Чернышевым.

В самом деле, Пушкин нигде не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то другого им якобы «оставленного труда». Напомним точный печатный текст первых строк предисловия к «Истории пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Так же имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствам живых». И далее: «Дело о Пугачеве, донныне нераспечатанное, находилось в государственном Санкт-Петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы <...>. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный»⁶.

Итак, Пушкин подчеркивал в своем предисловии только тот факт, что его труд был задуман в масштабах, гораздо больших, чем его удалось осуществить, что собранный им материал далеко не полностью вошел в его книгу и что поэтому сам автор рассматривает последнюю только как «часть труда», им «оставленного».

Пушкин не скрыл от читателей и одной из важнейших причин прекращения своей работы — невозможности воспользоваться материалами следственного дела о Пугачеве, оставшегося, несмотря на все его старания, «нераспечатанным». Сохранившиеся черновики отмеченного выше предисловия (IX, ч. I, 398—401), равно как и вся переписка Пушкина, относящаяся к изданию «Истории Пугачева», непреложно свидетельствуют о том, что поэт, называя свой труд «оставленным», никак не связывал «Истории Пугачева» с «Историей Суворова». Все же домыслы об этой линии исторических интересов Пушкина основывались на неправильном понимании письма будущего автора «Истории Пугачева» к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г.:

«Приношу вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе, — писал Пушкин. — Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.

1. Следственное дело о Пугачеве.
2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.
3. Донесения его 1799 года.
4. Приказы его к войскам.

Буду ожидать от вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами» (XV, 47).

Письмо это, закрепляющее какую-то нам неизвестную беседу Пушкина с А. И. Чернышевым о Суворове, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова»⁷. Пушкин в своем письме выражал интерес лишь к документам, «касающимся истории графа Суворова», причем неожиданно начинал перечень необходимых ему материалов «Следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях Суворова во время кампаний 1794 и 1799 годов производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «Следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты биографии Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковым, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и многие другие, почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если предположить, что поэт в беседе с военным министром дал последнему какой-то повод для неправильного заключения о своей готовности заняться «Историей Суворова», то эту беседу следовало бы понимать лишь как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным архивным материалам.

Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации восстания Пугачева, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской революции не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 г. лишь разыскания в области биографии Петра Великого.

Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторической повести, точная дата которого на девять дней предшествовала обращению поэта к графу

А. И. Чернышеву. Приводим этот план (VIII, ч. 2, 929) полностью:

«Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость — подступает Пуг<ачев> — Шв. предаст ему крепость — взятие крепости — Шв. делается сообщником Пуг<ачева> — Ведет свое отделение в Нижний — Спасает соседа отца своего — Чика между тем чуть было не повесил стар<ого> Шв<анвича> — Шв. привозит сына в Пб. Ор<лов> выпрашивает его прощение.

31 янв. 1833»⁸.

II. ОТ РОМАНА „ДУБРОВСКИЙ“ К ПЛАНУ ПОВЕСТИ О ШВАНВИЧЕ

Повесть, первые контуры которой наметились в записной книжке Пушкина в самом конце января 1833 г., относилась ко временам Пугачева, причем героем ее являлся один из случайных сообщников самозванца — подпоручик 2-го гренадерского полка Михаил Александрович Шванвич (он же Шванович), сын лейб-кампанца, крестник императрицы Елизаветы Петровны. Взятый в плен 8 ноября 1773 г. под Юзеевой отрядом Чики, он доставлен был в Берду, где присягнул Пугачеву и в течение нескольких месяцев состоял в его штабе в должности переводчика. В марте 1774 г., после разгрома войск Пугачева под Татищевой, Шванвич бежал в Оренбург, где вскоре был арестован. Лишенный по суду чинов и дворянства, он много лет прозябал затем в ссылке, в Туруханском крае, где и умер, неждавшись амнистии⁹.

Краткое обвинительное заключение по делу Шванвича вошло в правительственное сообщение от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»:

«Подпоручика Михаила Швановича, — отмечалось в разделе восьмом этого официального документа, — за учиненное им преступление, что он будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, — лишив чинов и дворянства ошельмовать, перелома над ним шпагу» (IX, ч. I, 190).

Никаких других данных о Шванвиче Пушкин не мог заимствовать из печатных источников, ибо их еще и не существовало. Естественно поэтому предположить, что, поскольку архивные материалы о Шванвиче в январе 1833 г. еще были недоступны поэту, его интерес к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то устных свидетельств об этом сподвижнике Пугачева. И действительно, в бумагах Пушкина сохранилось несколько заметок, тематически близких плану задуманной им исторической повести. Все эти заметки восходили к рассказам современников, а иногда и знакомцев Шванвичей. Мы знаем фамилию только одного из этих информаторов Пушкина — она сохранилась в его позднейшей заметке о «немецких указах» Пугачева:

«Немецкие указы Пугачева писаны были рукою Шванвича. Отец его, Александр Мартынович, был майором и кронштадтским комендантом — после переведен в Новгород <...> Им разрублен был Алексей Орлов в трактирной ссоре. Играя со Свечиным в ломбр, он имел привычку закуривать свою пенковую трубочку, а между тем заглядывать в карты. Женат был на немке. Сын его старший недавно умер. Слышано от Н. Свечина»¹⁰.

Кто же был этот Н. Свечин, так близко знавший старого Шванвича? Из трех Свечиных, имя которых начиналось на букву «Н» и которые по своему возрасту, положению и месту жительства имели возможность общаться с Пушкиным, наиболее вероятным информатором поэта следует признать генерала-от-инфантерии Николая Сергеевича Свечина (родился в 1759, а умер в 1850 г.), женатого на тетке приятеля Пушкина — С. А. Соболевского.

Впоследствии, готовя для Николая I свои дополнительные замечания к «Истории пугачевского бунта», которые по цензурным соображениям нельзя было включить в печатный текст книги, Пушкин писал:

«Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворя<нин> не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (почину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Из хороших фамилий, был Шванвич; он был сын кронштадтского коменд<анта>, разрубившего палашем щеку гр<афа> А<лексея> О<рлова>» (IX, ч. 1, 478).

В другой заметке, относящейся к «анекдоту» о старом

Шванвиче и А. Г. Орлове, Пушкин подробно передавал о том, как Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орловых на первую степень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич служил в Новгороде, сын же его, «находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Граф А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора» (IX, ч. I, 479—480)¹¹.

Краткие биографические данные об отце и сыне Шванвичах имели официальное назначение — они направлялись царю. Но в этих же справках нетрудно установить сейчас и некоторые наметки будущих сцен и образов задуманной Пушкиным исторической повести.

Для того, чтобы точнее определить факты, которыми располагал Пушкин о будущем Швабрине, напомним данные о подпоручике Шванвиче, которые вошли в рукописное «Известие о самозванце Пугачеве», автором которого был один из летописцев осады Оренбурга — священник Иван Полянский. Копия этого «Известия», сохранившаяся в бумагах Пушкина (IX, ч. II, 579—598), была использована и для «Истории Пугачева» (данные ее третьей главы о Хлопуше), и в «Капитанской дочке»¹².

Как рассказывает Иван Полянский, первые сведения о переходе подпоручика Шванвича на службу к Пугачеву получены были в осажденном Оренбурге 6 ноября 1773 г., вместе с данными о разгроме самозванцем войск генерал-майора Кара. Передавая, что сам генерал едва «убрался» от преследовавших его пугачевцев, перебежчики — свидетели его поражения — с ужасом вспоминали о том, как подпоручик Шванвич, захваченный в плен «с прочими офицерами и солдатами», «пришедши в робость, падши пред Емелькою на колена, обещался ему, вору, верно служить, за что он, Шванович, прощен Емелькою, и, пожаловавши того же часу его атаманом. Емелька, остригши ему, Швановичу, косу, как и всегда явившихся к нему солдат в кружалце остригал, велел ему дать к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу, что и самым делом он, Шванович, ему, Емельке, верно служил, так что

не только русские, но и немецкие в Оренбург присылал на Емелькино имя с большим титулом письма и манифесты варварские. Те же самые солдаты сказывают, что Емелька от генерала Кара солдат стбил больше 200 человек, которых к присяге вор всех приведши, себе в службу взял; офицеров всех, не желающих присяги своей нарушить, перевешал, а Швановича одного оставил» (IX, ч. II, 594).

Рукописи Пушкина свидетельствуют о том, что замысел повести о Шванвиче родился в процессе работы поэта над романом «Дубровский». Вплотную подойдя в последнем к проблеме крестьянской революции и к истории дворянина, изменяющего своему классу, Пушкин не мог в узких и условных формах традиционного разбойничьего романа конкретно-исторически осмыслить «бунт» Дубровского и сделать самый образ его политически значимым и актуальным.

Между 15 и 22 января 1833 г. Пушкин еще работал над «Дубровским», начатым в октябре 1832 г., а 31 января в одной из его тетрадей появляется план повести о Шванвиче.

Повесть эту никак нельзя рассматривать ни как простую параллель к «Дубровскому», ни как дальнейшее развитие его достижений. Нет, новый замысел превосходил решительный отказ от пугей брошенного уже романа, от поэтики повестей периода «бури и натиска», отказ, обусловленный новым пониманием задач историко-бытового романа и тех его характеров и коллизий, которые вытекали из основных противоречий русской крепостнической действительности, а не из конфликтов более или менее случайных, боковых и, как мы сказали бы сейчас, не очень типических¹³.

6 февраля 1833 г. Пушкин обрывает работу над «Дубровским», а через три дня обращается к А. И. Чернышеву с просьбой о предоставлении ему доступа к «Следственному делу о Пугачеве». Все эти даты достоянно красноречивы и не нуждаются в комментариях. Между тем популяризаторы версии об интересе Пушкина в начале 1833 г. к биографии генералиссимуса Суворова, а не к восстанию Пугачева, почему-то никогда к рабочему календарю и бумагам Пушкина не обращались и никаких выводов из совершенно безошибочно устанавливаемой последовательности фактов творческой истории «Дубровского», повести о Шванвиче и монографии о Пугачеве не делали.

Имя Шванвича стоит в центре еще двух дошедших до

нас планов задуманной Пушкиным исторической повести. Один из них, возможно, даже предшествовал тому, который оформился 31 января 1833 г. В нем Шванвич еще связан не с Пугачевым, а с его ближайшим соратником — Перфильевым.

Афанасий Петрович Перфильев, сотник Яицкого казачьего войска, был главою тайной делегации, прибывшей незадолго до восстания Пугачева в Петербург и пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II, чтобы вручить ей петицию о нуждах казачества, разоряемого своими старшинами и бюрократической агентурой центральной власти.

Миссия Перфильева оказалась безуспешной. Однако, когда до Петербурга дошли вести о первых успехах Пугачева под Оренбургом, при дворе возник проект использования Перфильева в качестве правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для захвата последнего. Перфильев спешно выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым присоединился к нему 6 декабря 1773 г. в Берде и вскоре занял один из руководящих постов в штабе мятежников. Захваченный в конце 1774 г. в районе Чесного Яра Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию, Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствует использованная Пушкиным рукопись воспоминаний И. И. Дмитриева, очевидца казни, Пугачев «во все продолжение чтения манифеста, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» (IX, ч. I, 148).

Вариант плана повести о Шванвиче и Перфильеве имеет в бумагах Пушкина всего три строки*:

«Кулачный бой — Шванвич — Перфильев —

Перфильев, купец —

Шванвич за буйство сослан в деревню — встречается Перфильева» (VIII, ч. 2, 930)¹⁴.

Таким образом, завязкой повести в первом ее варианте

* Над первой строкой, в скобках, проект вставки, читаемой на пирах» или «на пиках».

являлась встреча Шванвича с Перфильевым в Петербурге. Не случаен был в этом контексте и «купец», упоминаемый в плане рядом с Перфильевым. Это — Евстафий Долгополов, разорившийся ржевский купец, соратник Пугачева, предложивший правительству, после разгрома повстанцев под Казанью, захватить и выдать Пугачева. В своем письме к кн. Г. Г. Орлову Долгополов ссылался на содействие, якобы обещанное ему Перфильевым. Документы позднейшего следствия о Пугачеве и его сообщниках обнаружили совершенную непричастность Перфильева к афере Долгополова. Да и самый образ этого сподвижника Пугачева, его действия в пору восстания, его героическое поведение во время следствия, суда и казни говорили о том, что именно Перфильев являлся с начала и до конца самым последовательным врагом самодержавно-помещичьего государства. Об этом, кстати сказать, свидетельствовала и неизвестная в печати запись о Перфильеве самого Пушкина, сделанная им в 1834 г. в процессе работы над бумагами Д. Н. Бантыша-Каменского о событиях 1773—1775 гг.: «Перфильев сказал: пусть лучше зарюют меня живого в землю, чем отдаться в руки государыни».

Третий вариант повести о Шванвиче исключает из числа ее героев Перфильева, а вместе с ним и петербургскую завязку отношений между центральными персонажами. В новом проекте Пушкин непосредственно связывает Шванвича с Пугачевым теми же нитями («метель, кабак, разбойник вожатый»), которые были впоследствии развернуты в «Капитанской дочке»:

«Крестьянский бунт — помещик пристань держит, сын его —».*

Мятеж, — кабак — разбойник вожатый — Шванвич ст<арый>. — Молодой чел<овек> едет к соседу, бывш<ему> воеводой — Марья Ал. сосватана за плем<яника>, кот<орого> не люб<ит>. М<олодой> Шв. встречает разб<ойника> вожат<ого> — вступает к Пугачеву. Он предвод<ительствует> шайкой — является к Марье Ал. — спасает семейство и всех.

Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь — уезжает — Пугачев разбит. Мол<одой> Шв.

* Далее набросаны были цифры, определявшие, вероятно, хронологию повести: <17 74, 1770.

взят — Отец едет просить Орлов <а>. Екатер <ина>. Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, ч. 2, 929)¹⁵.

Если для двух первых планов повести о Шванвиче характерно отсутствие любовной интриги (свидетельство, конечно, не о том, что эта интрига вообще могла отсутствовать в повести, а лишь о том, что любовная коллизия не играла в ней существенной роли), то в третьем варианте плана этот узел начинает завязываться. Правда, образ Марьи Александровны, дочери «соседа» Шванвичей, в новом плане едва намечен, он еще, так сказать, «проходной», лишённый тех черт характера, которые определяют функцию Марьи Ивановны как одного из центральных персонажей будущей «Капитанской дочки». Но не случайно что именно Марью Александровну спасает герой повести от пугачевцев, в рядах которых активно действует и сам, подобно будущему Швабрину.

В третьем варианте плана нет ни Гриневы ни семьи Мироновых, ни капитанской дочки. Место действия в плане не определено, но во всяком случае это не Белогорская крепость, а помещичья усадьба в одной из поволжских губерний. Судя по наброскам «последней сцены» этого варианта повести («мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»), в 1833 г. уже определились контуры «пропущенной главы» будущей «Капитанской дочки», той самой главы, которую Пушкин в 1836 г. изъём из черновой редакции уже законченной повести перед ее перепиской для сдачи в цензуру.

Можно утверждать, что и старый Шванвич в начальных вариантах повести Пушкина еще не имел ничего общего с Андреем Петровичем Гриневым: Шванвич-отец даже «пристань держит», то есть явно связан с разбойничьей вольницей. Во второй главе «Капитанской дочки» сохранился отдаленный след этих начальных набросков повести о Шванвиче — мы имеем в виду описание степного постоялого двора, к которому выводит Пугачев во время бурана кибитку Гринева: «Постоялый двор, или, по тамошнему, умет, находился в стороне, в степи,далече от всякого селения, и очень походил на разбойничью пристань» (VIII, ч. I, стр. 290).

Чем дальше Пушкин отходил от начальных вариантов фабулы своей повести о дворянине-пугачевце, тем резче менялся и образ отца героя. В «Капитанской дочке» Андрей Петрович Гринев прежде всего человек строгого

долга, носитель фонвизински-новиковских принципов общественной морали, высокие понятия которого о служении дворянина и офицера государству определяют его наставления сыну при отправке последнего в армию: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не упрямься; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» (VIII, ч. 1, 282). Эту «честь» сохранил и он сам, преждевременно уйдя в отставку, чтобы «отстоять то, что почитал святынею своей совести».

Образ старого оппозиционера, прозябающего в деревенской глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г. за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина (см. «Мою родословную», «Родословную Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 годе» в «Дубровском»). Этот образ связан был даже с семейными преданиями об опале деда поэта, Льва Александровича

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верев оставался
Паденью третьего Петра.

Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что Андрей Петрович Гринев «служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1762 году»¹⁶. Таким образом, и он, «как Миних, верев оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева, исключенная из печатного текста, объясняет и опальное положение его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного календаря», и желание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах повести и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней (мотивировки для подцензурного издания пушкинской поры совершенно, конечно, неприемлемые), а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, оказавшегося, по мотивам особого и сугубо личного порядка, в стане восставших крепостных рабов¹⁷.

III. БУМАГИ ПУШКИНА О ПУГАЧЕВСКОМ АТАМАНЕ ИЛЬЕ АРИСТОВЕ

В одном из первых вариантов плана будущей «Капитанской дочки», набросанном Пушкиным 31 января 1833 г., с общеизвестными фактами биографии Шванвича расходилась одна фабульная деталь: «Ведет свое отделение в Нижний».

Между тем под Нижним-Новгородом оперировал не Шванвич, а другой «государственный изменник» из дворян. Мы имеем в виду беглого сержанта Илью Аристову, пожалованного Пугачевым после взятия Казани в полковники и захваченного правительственными войсками под Нижним-Новгородом около 25 июля 1775 г.

Илья Степанович Аристов, мелкопоместный дворянин Костромской губернии, родился около 1726 г., в службу вступил в Бутырский пехотный полк в 1746 г., участвовал в «семилетней войне» и в походе в Восточную Пруссию, вышел в отставку сержантом в 1762 г.

По прибытии в свою вотчину («сельцо в Чижевском стану» у реки Белой, число крепостных душ — всего шесть) Аристов обзавелся семьей и, так как доходов от сельского хозяйства было мало, под рукою занялся «неуказным винным курением». Уличенный в этом, он по судебному приговору был разжалован в солдаты и отправлен в 1764 г. в крепость Моздок. После тяжелой шестилетней службы на далекой окраине Аристов вместо ожидаемой им отставки получил производство в сержанты. Тогда, «согласясь с солдатами Иваном Малковым, Сергеем Невенциным и Федором Поляковым», в марте 1770 г. бежал с ними из крепости «через Куминскую степь на Царицыно, а оттуда в Москву». Из Москвы Аристов уже без труда добрался до своей деревеньки, где и прожил в кругу своей семьи около полугода, «сказываясь отпущенным из полку». Возбужден, однако, некоторые подозрения и узнав, что «другие помещики вознамерились его поймать», Аристов вынужден был возвратиться в Москву к своим беглым однополчанам, с которыми завербовался «в работу на заводах» в Екатеринбург. Несмотря на заверения вербовщиков, что на Урале «принимаются на работу и беглые», Аристов со своими товарищами оставался на заводе только «недели с четырьмя», после чего как беспаспортный должен был вновь бежать.

«Будучи в пути, уведомился он в Сарапуле и Осе, что называющийся государем Петром III-м Пугачев принимает к себе разного звания людей с большим награждением жалованья», ввиду чего Аристов и «принял намерение» идти вместе с «товарищами солдатами» прямо к самозванцу. Этот переходный момент биографии Аристова представлен в его показаниях двумя версиями. По одной (позднейшей) он еще до присоединения к Пугачеву попал вновь в Москву, откуда отправился к брату в Таганрог, в пути действовал уже в качестве эмиссара самозванца, 25 марта 1774 г. был арестован на Дону, доставлен в Казанскую следственную комиссию, откуда и бежал перед самым занятием города пугачевцами.

По другой версии (мало достоверной) Аристов на Дону не был, а присоединился к Пугачеву на пути из Екатеринбурга в Москву, служил рядовым в Яицком казачьем полку Федора Прохорова, отличился 11—12 июля 1774 г. при взятии Казани, после чего и занял видное место в штабе самозванца.

Так или иначе, но активное участие Аристова в операциях Пугачева под Казанью не подлежит сомнению. За смелый захват батареи с четырьмя пушками, защищавшей подступы к Казани со стороны «форштата», Аристов был произведен в полковники, заместив раненого Федора Прохорова. Во время отступления Аристов сперва находился при Пугачеве, а затем был отряжен им в Ядринский и Курмышский район «для приуготовления, где он будет итти, хлеба и разных съестных припасов».

Действовал новый полковник очень энергично и, не ограничивая свои функции заготовкой фуража, вербовал в армию Пугачева крестьян и фабричных, чинил суд и расправу над помещиками и их агентурой. Даже в первых своих показаниях, по понятным причинам многого не договаривая, явно преуменьшая свою роль и успех своих действий, Аристов признал себя ответственным за следующие мероприятия: при въезде в село Семьяно, где он встречен был крестьянами как эмиссар Пугачева с хлебом и солью, он «объявил, что он Полковник и прислан от оного Государя, с тем, если кто имеет себе от начальников своих какие обиды, то б их вешать, и после того вскоре в оное село привез из села Воротынца староста со крестьяны, по объявлению, Управителя с женою, да француза и немца и крестьянина Андрея Киреева, да представил еще села

Семьяна двух крестьян с жалобой на всех их в причиняемых ими одновотчинным крестьянам обидах, кои по его Аристову приказанию Воротынцовскими и Семьянскими крестьянами и повешены, где он был часов с пять, а потом из жительства проводили его крестьяне и дали проводника до села Воротынца, в котором так же, как и в селе Семьяне, был встречен и по приезде на требование его вотчинных разорителей представлены к нему были упоминаемым же села Воротынца старостою по оказыванию его управительской брат Иван Тетеев с сыном, кои по тому-ж с его Аристову приказания фабричными повешены; а при том он вызывал в службу к известному злодею Пугачеву охотников, на что как крестьяне, так и фабричные желание свое объявили, а напоследок по его приказанию всю фабрику разорили и полотно по себе разделили».

Из Воротынца Аристов, в сопровождении приставшего к нему мастерового полотняной фабрики Григория Пытова, отправился в село Фокино (в 80 верстах от Нижнего-Новгорода), где, агитируя в пользу Пугачева, и был около 25 июля 1774 г. захвачен отрядом правительственных войск.

Допрос, учиненный Аристову нижегородским губернатором генерал-поручиком А. А. Ступишиным, по собственному признанию последнего в рапорте на имя графа П. И. Панина, сопровождался «жестокими истязаниями». Сам Аристов показал впоследствии в Москве, что его «раздето били в три палки, принимаясь два раза жестоко». пытками и побоями вызван был и известный оговор Аристовым казанского архиепископа Вениамина в денежной поддержке Пугачева.

С этим последним эпизодом (дело казанского архиепископа в течение долгого времени занимало и непосредственных ликвидаторов пугачевщины, и всю высшую петербургскую администрацию) связано и единственное до сих пор известное упоминание Пушкиным имени Аристова в «Истории Пугачева». Мы имеем в виду примечание к главе седьмой печатного текста (IX, ч. I, 114).

Рукописи Пушкина позволяют точно установить, что интерес его и как исследователя и как романиста к исторической личности Ильи Аристова был не менее значителен, чем к другим выходцам из правящего класса, ставшим в 1773—1774 гг. на службу крестьянской революции.

На основании некоторых секретных архивных материалов, представленных ему в мае 1834 г. историком Д. Н. Бантыш-Каменским, Пушкин сделал следующую конспективную биографическую справку об Илье Аристове.

ОБ АРИСТОВЕ

Аристов (Илья) из дворян был капралом в 1773 году, бежал из Томского полку, возмущал станицы Донские, взят под стражу, освобожден во время взятия Казани, наименован от Пугачева полковником, взят в плен в июле 1774, пытан в Нижнем-Новг. Там показал на Казанского Архиепископа Вениамина (смотри о Вениамине). Он пытан был потом и в Москве в Тайной экспедиции Генерал-прокурором к. Вяземским и Шешковским. Екатерина избавила его от смертной казни. Он был высечен кнутом в Казани, и сослан на каторжную работу в Рогервик (Из бумаг о Пугачеве Б. Каменского).

Лист с этой неизданной записью Пушкина, сохранившийся в его бумагах (тетрадь № 2391 по старой описи Румянцевского музея; жандармская помета красными чернилами: № 12), тесно связан с другими документами о том же Аристове в архиве поэта. Мы имеем в виду копии протоколов двух допросов Аристова в Нижегородской губернской канцелярии, которые в начале пятидесятых годов были изъяты из бумаг Пушкина П. В. Анненковым, затем в течение многих лет оставались в распоряжении детей и внуков последнего, в 1924 г. проданы были антиквару Ф. Г. Шилову, от которого перешли в собрание П. Е. Щеголева, а в 1934 г. опубликованы были нами в «Литературном наследстве»¹⁸.

Копии с секретных документов об Аристове были заключены Пушкиным в особую обложку (два листа белой плотной бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1833»), собственноручно им же озаглавленную: *Об Аристове*.

Никаких других помет Пушкина ни на обложке, ни в копиях документов не сохранилось. Связь же этой группы бумаг с пушкинским автографом биографии Аристова, опубликованным нами выше, учтена была еще в 1837 г. жандармами, сделавшими на обложке отметку теми же красными чернилами: *К № 12*.

Первый документ, скопированный по заказу Пушкина

(на шести листах бумаги обычного канцелярского формата, исписанных с обеих сторон), представлял собою протокол допроса Аристово от 25 июля 1774 г.¹⁹ Второю же воспроизводил дополнительные показания его в той же Нижегородской губернской канцелярии от 4 августа 1774 г. (на двух листах бумаги канц. формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1834»). По списку, сохранившемуся в бумагах П. И. Панина, показания Аристово от 25 июля недавно были опубликованы в сборнике Центрархива «Пугачевщина», что позволяет нам ограничиться сейчас публикацией только второго документа, давшего Пушкину несколько занимательнейших дополнительных штрихов для биографии Аристово (данные о его встрече с Пугачевым еще во время прусского похода, пропагандистская деятельность на Дону, пребывание в казанской тюрьме одновременно с женою и детьми самозванца и пр.) и весьма ценного для общей истории пугачевщины (детальная характеристика планов и расчетов Пугачева после его разгрома под Казанью, колоритнейшие свидетельства об активной его поддержке заводскими крестьянами и нацменами среднего Поволжья).

1774 года Августа 4 дня Илья Аристов из-под пристрастия в подтверждение показал:

Сего года Генваря 4 дня по выздоровлении из Московского Госпиталя с товарищем его Великолуцкого полка солдатом Андреем Кузьминым бежал точно в Таганрог к брату своему родному тамошнего батальона Поручику Василию Аристову для свидания; а чтоб разглашение делать на Дону и в проезд во всех жительствовах о измене злодея Пугачева, об том подлинно никем научен не был, а разгласительные слова произносил точно он только в одном месте на реке Медведице войска Донского Полковника Серебрякова в станице Скухихе, и то по насышке в проезд его к Дону февраля в половине в Пензенском уезде одного села от бывших с ним проводников, а как то село прозывается и которого помещика, также и имен тех крестьян он не упомнит, а те крестьяне сказывали ему, что они, будучи в Уфимском уезде для продажи окончин, в тамошнем краю самозванца Пугачева толпами были задержаны, а наконец прорвавшись выехали в дома свои; знакомство ж имел он с показанным Пугачевым в Прусском походе под Пальцихом, где оставлена была от Донского войска при магазейнах сотенная команда. Что-ж Государь Император Петр Федорович подлинно скончался, не только он о том слышал, но и совершенно знал, будучи в то время в Риге на ординардии у Генерала Федора Матвеевича Воейкова; по выпуске-ж его злодеями из Секретной Комиссии с прочими он отведен в кузницу для разбития желез, а оттуда как ведены были в злодейский лагерь, то, идучи вместе, злодея Пугачева с женою, в которое время наехал сам злодей на них и велел подать телегу и во оную посадить жену свою с детьми, а по просьбе ея и его Аристово. Как же приехали в лагерь, где его была палатка, отведя, спрашивал его Аристово, почему он его знает? на

что он ему объявил, что он знает по бытности его под Пальцихом. При чем ему Аристову запрета, чтоб об том никому не разглашать и пожаловав полковником, приказал быть при своей жене и детях. И в бытность его при жене злодея Пугачева, слышал неоднократно присосимую от жены его жалобу Донского войска на полковников Илью Федорова, Михайлу Серебрякова, Алексея Селинского и на главного их старшину Сулина о сожжении домов его и о разорении имения. Как же они переехали Волгу и отошед от Сундыря верст пятнадцать остановились, откуда злодейское намерение было идти в Нижний; но вышедшие из лесу Чуваши человек с пятнадцать объявили ему, что Нижний укреплен и команды в нем весьма много. Почему он, отменя то намерение, пошел к Ядрину и к Курмышу, спрашивая у него Аристово, не знает ли он прямой дороги на Дон, не хватая Пензы и Воронежа, но как он сказал, что дороги не знает, то по приказу его привели к нему двух человек Чуваш, кои и объявили ему, что они проводить могут к Донцу и Дону тем трактом, как он приказывает лесными местами из Курмыша, миновав Алтырь и Пензу на устье Медведицы и чрез станицы Кочалиной, малые и большие Чиры и Пятиизбинскую, за которую их, Чуваш, услугу и дано от Пугачева по тридцати рублей. А от сей последней станицы намерен был послать в Царицын осмотреть, не можно-ли будет оттуда получить пушек с припасами, с коими следовать до Черкасского и там будучи по способности возмутить Белогородскую и Кубанскую орды, а умножа силы обратиться к Москве, которому тракту бывший при нем секретарь Савелий Яковлев, а прозвания не знает, писал записку; его ж Аристово послал с семью человеками вперед для приуготовления, где он будет идти, хлеба, овса и разных съестных припасов. И проезжая он Аристов до села Фокина на фабрике графа Головина повесили по повелению его Аристово восемь человек, и той его Головина вотчины как крестьяне, так и все мастеровые приготовились было принять злодея Пугачева; да как он с той фабрики поехал в село Фокино, то по его-ж приказу без него крестьянами повешено четьре человека, а злодей Пугачев тем пошел трактом, которому сделана была записка, или другим, о том он утвердить не может. А он Аристов в показанном селе Фокине пойман и отвезен в Нижегородскую Губернскую Канцелярию²⁰.

IV. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1830 — 1831 ГОДОВ И ГЕНЕТИКА „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА“

Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его

общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Les temps sont bien tristes, — писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой²¹. — L'épidémie fait à Pétersbourg de grands ravages. Le peuple s'est ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s'étaient répandus. On prétendait que les médecins empoisonnaient les habitants. La populace furieuse en a massacré deux. L'Empereur s'est présenté au milieu des mutins<...> Ce n'est pas le courage, ni le talent de la parole qui lui manquent; cette fois — ci l'émeute a été apaisé; mais les désordres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d'avoir recours à la mitraille» (XIV, 184).

Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян:

«Ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руссы. Ужасы! — писал Пушкин 3 августа 1831 г. кн. П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новг<городских> поселен <иях> со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и комуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство! Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (XIV, 204—205).

Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Нов-

городской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбуждали в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений»²².

Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности»²³.

В аспекте классовых боев 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины. Концепция последней, как «бессмысленного и беспощадного русского бунта», предопределяя социальную дидактику будущей «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» (невозможность либерально-дворянского компромисса с крестьянской революцией), обозначилась вовсе не в результате позднейших пристальных изучений Пушкиным материалов о пугачевщине, а еще года за полтора до окончательного определения этой линии его творческих и исследовательских интересов.

Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о кровавых эксцессах восстания военных поселян — фактах, не подлежавших, конечно, оглашению в тогдашней прессе, — был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии²⁴.

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назад, мой любезнейший Александр Сергеевич, — писал Н. М. Коншин в первых числах августа 1831 г. Пушкину. — Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истя-

зают; величают вашими высокоблагородными и бьют дубинами,— и это все вместе. Чорт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считают умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» (XIV, 216).

Следует отметить, что к событиям 1830—1831 гг. восходили не только политические дискуссии широкого философско-исторического плана о русском народе и о судьбах помещичье-дворянского государства, не только некоторые формы официозной фразеологии (мы имеем в виду прежде всего охранительные сентенции Гринева), но и совершенно конкретные детали бытописи «Капитанской дочки». Напомним, например, в связи с этим известную сцену «Пропущенной главы»: «Что такое?» спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановив разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиной. Мужик подошел ко мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту» (VIII, ч. 1, 376).

Строки эти полностью восходили к рассказу Пушкина о его попытке пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 года, «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний»: «Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава! Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку <...> Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр. (XII, 310). Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830—1831 гг. предопределили зарисовку столкновения Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (VIII, ч. 1, 346).

К пушкинским писаниям 1830 г. восходит и известное место четвертой главы «Капитанской дочки»: «Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь»

В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной «20 сент.» 1830 г., нами обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь»²⁵

V. ОТ ПЛАНОВ ПОВЕСТИ О ШВАНВИЧЕ К „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ“

Работа над повестью о Шванвиче не пошла дальше начальных набросков плана, ибо изучение архивных материалов о пугачевщине, доступ к которым Пушкин получил 25 февраля 1833 г., настолько его увлекло, что вместо повести он сразу же принялся за «Историю Пугачева». Реализация этой книги шла небывало быстрыми темпами 25 марта 1833 г., то есть ровно через месяц, завершена была черновая редакция первой главы монографии, а еще через два месяца, судя по дате последней ее главы («22 мая 1833 г.»), «История Пугачева», в самой сжатой, местами еще даже полуконспективной форме, доведена была до конца²⁶.

Однако ошибочно было бы думать, что «История Пугачева» означала отказ Пушкина от работы над повестью. Об определенном параллелизме в эту пору художественных и исследовательских интересов Пушкина свидетельствуют не только некоторые творческие документы его архива, но и общеизвестное автопризнание. Так, готовясь к поездке в Казань и Оренбург для ознакомления с районом восстания, а также для собирания дополнительных архивных и фольклорных материалов о нем, Пушкин, на официальный запрос от имени Николая I о целях его путешествия, отвечал 30 июля 1833 г. управляющему III Отделением: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (XV, 70). Это глухое упоминание о начатом романе нельзя толковать как простую отписку, имевшую целью только прикрыть основную мотивировку поездки — необходимость доработки «Истории Пугачева». Через пять дней после приведенного письма Пушкин набрасывает проект художественного введения к роману, генетически связанного с повестью о Шванвиче, но с весьма существенными изменениями не только его персонажных характеристик, но и некоторых линий развития самой фабулы.

Вместо Шванвича, служившего Пугачеву «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в новых вариантах плана повести о дворянине-пугачевце появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. не игравшая. Эта смена

героев очень симптоматична. От Шванвича, измена которого была осмыслена политически, который пусть и не надолго, но сознательно соединяет свою судьбу с судьбами крестьянской революции, Пушкин переходит к Башарину, не союзнику, а пленнику Пугачева, помилованному по просьбе его солдат, но скоро вновь оказавшемуся в рядах правительственных войск.

Архивные материалы о занятии пугачевцами 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» следующую сцену суда и расправы Пугачева²⁷:

«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли на меня, на вашего государя?» — спросил победитель — «Ты нам не государь, — отвечали пленники: — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. — Потом привели капитана Башарина Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взятые в плен солдаты стали за него просить «*Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю*» — И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость» (IX, ч. 1, 35—36).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в седьмой главе «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине — показания о нем фурьера Иванова в бумагах архива Главного штаба, доставленных поэту по распоряжению графа Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. (XV, 51, 54, 57).

Таким образом, никак не раньше марта — апреля 1833 г. мог сложиться и тот новый вариант плана повести о дворянине-пугачевце, который первоначально связан был в литературных замыслах Пушкина с фактами биографии поручика Шванвича. Мы должны особенно подчеркнуть именно эту последовательность планов повести и их хронологию, ибо до получения материалов из архива Главного штаба о капитане Башарине, пощаженном Пугачевым при взятии крепости Ильинской 29 ноября 1773 г., Пушкин никакими данными об этом событии не располагал. Имя капитана Башарина не встречалось ни в одном из печатных источников, во-первых, и не принадлежало к числу имен, известных людям из окружения Пушкина, во-вторых. Тем не ме-

нее в академическом издании полного собрания сочинений Пушкина планы исторических повестей о Шванвиче и Башарине опубликованы были в 1940 г. в иной последовательности (VIII, ч. 2, 928—930), исходящей из предположения о том, что наиболее ранним вариантом повести о дворянине-пугачевце является недатированная запись «Башарин отцом своим привезен в Петербург» и пр., а не план «Шванвич за буйство сослан в гарнизон», относящийся к 31 января 1833 г.²⁸

Это ничем не мотивированное смещение хронологии двух замыслов, сделанное вопреки их внутренней связки, логике фактов и традиции, опираясь, видимо, лишь на место этих планов в рабочей тетради Пушкина (тетрадь № 2374, по старой нумерации Отдела рукописей Румянцевского музея). План повести о Башарине набросан был в этой тетради на обороте листа четвертого, а запись «Шванвич сослан в гарнизон» сделана была в этой же тетради на листе пятом. Тетрадь № 2374, занятая, в основном, черновиками поэмы об Езерском (первый вариант будущего «Медного всадника»), заполнялась Пушкиным во все не лист за листом, а в самом произвольном порядке и притом в разное время. Используя 31 января 1833 г. один из чистых начальных листов тетради для плана повести о Шванвиче, Пушкин через некоторое время вернулся к этому плану и, перечитав его, в порядке частичного корректирования старого замысла, набросал там же, на обороте соседнего чистого листа, новый вариант фабулы волновавшей его повести о дворянине-пугачевце. Приводим эту запись (VIII, ч. 2, 928—929) полностью:

«Башарин отцом своим привезен в П<етер>б<ург> и записан в гвардию. За шалость сослан в гарнизон*. Поощажен Пугач<евым> при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугач<ева>. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугач<ева>. — Принят опять в гвардию. Является к отцу в Москву — идет с ним к Пугач<еву>

* К этому месту плана относилась вставка, сделанная карандашом на полях в верхней части листа. Вставка эта от времени уже совершенно стерлась и читается с большим трудом. Условная ее расшифровка. Он отправился из страха отцовского гнева (VIII, ч. 2, 928)

[Старый комендант <ант> отправляет свою дочь в близкую крепость].

Пугачев взяв одну, подступает к другой — Башарин первый на приступе].

[Требует в награду]»²⁹.

К этому же плану относятся несколько строк, намечающих новую мотивировку узлового момента повести — появления героя в стане Пугачева:

«Башарин дорогою во время бурана спасает башкирца (le mutilé). Башкирец спасает его по взятии крепости — Пугачев щадит его, сказав башкирцу — *Ты свою головою отвечаешь за него.* — Башкирец убит — etc.» (VIII, ч. 2, 929).

Дата этих дополнительных строк³⁰, видимо, та же, что и плана в целом, так как до своего изъятия из тетради № 2374 листок с этой записью следовал за основным планом.

Из проекта введения к повести о Башарине, относящегося к 5 августа 1833 г., мы можем установить, что строилась эта повесть как записки ее героя, то есть — точно так, как развивалось повествование в «Капитанской дочке», построенной как рассказ Петра Андреевича Гринева. Политическая дидактика прикрывалась в этом предисловии якобы совершенно бесхитростным обращением автора к своему внуку: «Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что несмотря на твои проказы, я все полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею <...> Ты увидишь, что завлеченный пылкостью моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. — То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоём два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство» (VIII, ч. 2, 927).

По своей тональности это «введение» настолько близко «Капитанской дочке», что если бы мы не знали его даты, то никак не могли бы ассоциировать его с планом повести о Башарине. Этот же план, несмотря на наличие в нем некоторых деталей, близких «Капитанской дочке», в своих ос-

новных линиях гораздо более тесно связан с начальным замыслом Пушкина, когда в центре эпопеи стоял не Гринева, а Шванвич. В наметках повести о Башарине вновь воскресли петербургские сцены, известные нам по варианту «Шванвич — Перфильев» (см. выше, стр. 14—15).

Башарин — гвардеец, высланный «за шалость» из столицы в окраинный крепостной гарнизон, как будущий Швабрин в Белогорскую крепость. Он и возвращается в гвардию, побывав в войсках и Пугачева и его усмирителя Михельсона. В черновых заметках, развивающих и дополняющих начальный план, появляются первые контуры образов отца и дочери Мироновых — «старый комендант» и «комендантская дочка». Пушкин, правда, перечеркивает эти строчки, но мы не можем не учесть, что Башарин, подобно будущему Гринева, не только уже связан с «комендантской дочкой», но даже спасает ее от пугачевцев, в рядах которых действует и он сам. Башарин честно служит Пугачеву. Он даже «первый на приступе» и после взятия крепости, в которой скрывается любимая им девушка, «требует в награду» за свой подвиг именно ее, дочь убитого коменданта.

С этой мелодраматической фабульной линией корреспондирует в новом варианте повести и другой романтический штамп — Башарин «спасает отца своего, который его не узнает». Как далеки еще эти надуманные эффекты от «нагой простоты» типических ситуаций того же плана в «Пропущенной главе» будущей «Капитанской дочки»!

Приближает этот план к «Капитанской дочке» и новый вариант мотивировки пощады Башарина Пугачевым («Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца»). Возвращаясь в наметках этой сцены к одному из планов повести о Шванвиче, Пушкин рассчитывает свести своего героя уже не с самим Пугачевым, а с одним из изувеченных в процессе следствия и суда деятелей башкирского восстания 1741 г. От этого замысла Пушкин скоро отказался — вместо «старого башкирца» в последнем плане «Капитанской дочки» появляется опять Пугачев. Но образ изувеченного башкирца («le mutilé») настолько прочно утвердился в памяти поэта, что именно с этим башкирцем, у которого вырезаны язык, уши и нос, — мы встречаемся в «Капитанской дочке» (сцена допроса его в главе шестой и его же образ в главе седьмой, когда изувеченный старик сам распоряжается у виселицы в качестве палача — VIII, ч. 1, 318 и 324).

К зиме 1834—1835 гг. относится последний из известных нам планов новой перестройки некоторых частей повести о Шванвиче (VIII, ч. 2, 930). Мы говорим только о «перестройке», и притом не всей повести, а лишь некоторых ее глав, так как в новом варианте плана нет ни начальных сцен произведения (завязка отношений между ее героем и Пугачевым во время бурана), ни его концовки (судьба Валуева—Гринева после получения им в Оренбурге письма от Марьи Ивановны и роль последней в его спасении). В новом варианте плана характерен, в отличие от всех предшествующих, упор не на политическую линию Шванвича—Пугачева, а на локальный историко-бытовой материал (семья Горисовых, то есть будущих Мироновых, и роман Валуева—Гринева с Марьей Ивановной на фоне Белогорской идиллии, разрушаемой в огне и буре гражданской войны). Снижение героя продолжается—Валуев не Шванвич и даже не Башарин, но все же образ его не расщеплен еще, как в окончательной редакции романа, на Швабрина и на Гринева,—поэтому в новом варианте нет и поединка (будущей главы IV), а ранение героя происходит не на дуэли, а во время осады крепости:

«Валуев приезжает в креп<ость>».

Муж и жена Горисовы. Оба душа в душу—Маша, их балованная дочь—(барышня Марья Горисова). Он влюбляется тихо и мирно.—

Получают известие и Капитан советуется с женою. Капитан, привезший письмо, подговаривает крепость—Капитан укрепляется, готовится к обороне [а дочь отсылает], подступает (?).

Крепость осаждена—приступ отражен—Валуев ранен—в доме коменданта—второй приступ. Крепость взята—Сцена виселицы—Валуев взят во стан Пуг<ачева>. От него отпущен в Оренб<ург>».

Валуев в Оренб<урге>—Совет—Комендант—Губернатор—Тамож<енный> См<отригель>—Прокурор—Получает письмо от М<арьи> Ив<ановны>»³¹.

Начало реализации плана повести о Валуеве, исключительно близкой VI, VII, VIII, IX и X главам будущей «Капитанской дочке», не может быть датировано раньше осени 1835 г., о чем свидетельствует, во-первых, отсутствие

каких бы то ни было данных об этом в более ранних бумагах Пушкина и, во-вторых, письмо его к Плетневу от начала октября 1835 г. из Михайловского: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу,—через пень ко лоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (XVI, 56).

Роман задерживался, однако, не только отсутствием «сердечного спокойствия», необходимого для работы. Неуспехом «Истории Пугачева» и отдельного издания «Повестей» 1834 г., запрещением «Медного всадника» и отказом самого автора от окончания «Дубровского» создавалось положение, при котором Пушкин не мог идти на риск провала в цензуре своей новой большой вещи. Роман приходилось путем сложнейших литературно-тактических ухищрений и перестроек приспособлять к жестким рамкам «дозволяемого к печати». Художественной и политической ответственностью этой неблагоприятной работы и были прежде всего обусловлены медленные темпы ее осуществления.

Дошедшие до нас планы романа особенно ярко, как это было показано уже выше, демонстрируют процесс постепенного политического и интеллектуального снижения его героя. Вместо Шванвича, выходя из кругов петербургской гвардейской оппозиции, активного союзника Пугачева, в четвертом варианте плана повести появляется капитан Башарин—пленник Пугачева, пощаженный по просьбе любивших его солдат, но скоро вновь оказавшийся в рядах правительственных войск. В шестом варианте плана исторический Башарин, которого Пушкин предполагал связать с Пугачевым случайным эпизодом «спасения башкирца» во время бурана (фабульное зерно, давшее в последней редакции «Капитанской дочке» заячий тулупчик), заменяется безличным Валуевым, но и этот невольный пугачевец, фигура почти нейтральная, в силу именно своей нейтральности в разгар крестьянской войны, не мог, разумеется, с точки зрения охранительного аппарата дворянской монархии, функционировать в качестве положительного героя в исторической эпопее. Для закрепления в «Капитанской дочке» даже скромных позиций Валуева—Гринева приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, яв-

лялся громоотводом, обеспечивавшим от цензурно-полицейской грозы положительный образ другого (Гринева).

Самое имя Гринева (в черновой редакции романа он еще назывался Буланиным) выбрано было не случайно³². В правительственной информации от 10 января 1775 г. об окончании процесса Пугачева имя подпоручика А. М. Гринева значилось в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными» (IX, ч. 2, 191).

Ломка романа не ограничилась, конечно, отказом от его начального плана и изменением характера и функций его героев. Дошедшие до нас фрагменты черновых и беловых рукописей «Капитанской дочки», относящиеся к 1836 г., позволяют установить, что Пушкину даже в процессе переписки романа приходилось исключать из него ряд сцен, образов и положений, социально-политическая значимость и острота которых была неприемлема для подцензурной печати тридцатых годов.

В первую очередь из повести изъята была глава, в которой Пушкин дал несколько ярких бытовых зарисовок крестьянского бунта в крепостной усадьбе отца Гринева. Эта глава (Гринева назывался в ней Буланиным, а Зурин — Гриневым) намечена была еще в одном из самых ранних планов повести о Шванвиче («Последняя сцена — Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»). Изымая эту главу (как явно не отвечающую цензурным условиям) из последней рукописной редакции «Капитанской дочки», Пушкин сам назвал ее «пропущенной главой» и сохранил ее в своих бумагах, не в пример другим частям этой редакции повести³³. Впрочем, до нас дошел еще один ее фрагмент — черновой набросок заключения «Капитанской дочки» (от слов «Здесь прекращаются записки П. А. Буланина»), с подписью «А. Пушкин» и с датой «23 июня» (бумага с водяным знаком «А. Гончаров. 1830»). Мы относим эти части повести к 1836 г., ибо не имеем никаких оснований для приурочения «пропущенной главы» ни к более раннему времени (когда герой ее еще не был расщеплен на Гринева и Швабрина), ни к более позднему, когда Пушкин заменил имя Буланина на Гринева. От последней рукописной редакции «Капитанской дочки», сохранившейся в архиве Пушкина (VIII, ч. 2, 858—905), «пропущенную главу» отделяют и палеографические признаки бумаги, на которой

она была написана (водяной знак этих листов «А. Гончаров. 1829», в то время как все прочие главы повести писаны на бумаге с водяными знаками «1833», «1834» и «1836»).

Итак, закончив 23 июня 1836 г. первую рукописную редакцию «Капитанской дочки», Пушкин занялся ее перепиской³⁴, и 27 сентября представил цензору П. А. Корсакову «первую половину» романа; 19 октября рукопись переписана была до конца (VIII, ч. 1, 374) и около 24 октября дополнительно сдана для подписи к печати³⁵. В обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво просил сохранить «тайну» своего имени, предполагая выпустить роман в свет анонимно. Какие-то мелкие изменения пришлось Пушкину внести по требованию цензора в первые главы романа, а по поводу заключительной его части он же должен был письменно разрешить недоуменный вопрос своего официального рецензента: «Существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы?» (XVI, 177).

«Имя девицы Мироновой,— отвечал Пушкин 25 октября 1836 г. П. А. Корсакову,— вымышлено. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (XVI, 177—178).

Исторические черты дворянина-пугачевца, еще очень четкие в начальных планах задуманной Пушкиным повести о поручике Шванвиче, постепенно нейтрализуясь и стусывываясь в линии поведения Башарина, Валуева и Буланина, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Швабрина и Гринева. Если этот разлом прежде единого персонажа и был обусловлен в конечном счете соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (повесть о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не могла рассчитывать на печать), то нет все же никаких оснований для признания вольного или невольного пугачевца Шванвича политическим рупором Пушкина даже в тех вариантах фабулы повести о событиях 1773—1774 гг., которые предшествовали «Капитанской дочке».

VI. РАССКАЗЫ И. А. КРЫЛОВА О СОБЫТИЯХ 1773 — 1774 гг. В ЗАПИСЯХ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПУШКИНА

25 февраля и 8 марта 1833 г. Пушкин получил из архива военного министерства первые партии секретной переписки о восстании Пугачева и о действиях правительственных войск по его ликвидации. В числе документов, с которыми познакомился поэт, были и материалы об осаде пугачевцами Яицкого городка, одним из наиболее энергичных защитников которого являлся капитан Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца³⁷. Понятно, что в числе первых живых свидетелей гражданской войны в Оренбургских степях, опрошенных Пушкиным, был Иван Андреевич Крылов.

Крылов принадлежал к числу тех немногих русских писателей конца XVIII и начала XIX столетия, роль которых в литературном воспитании Пушкина, в его движении к реализму была особенно велика³⁸.

В своей статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825 г.) Пушкин характеризовал знаменитого баснописца как «представителя духа» русского народа (XI, 34); в полемических заметках 1830 г. он называл Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом — *le plus national et le plus populaire*» (XI, 154), стихами Крылова постоянно уснащал свои статьи и письма, а за недооценку его басен (дискуссия о них закончилась не раньше середины двадцатых годов) горячо упрекал Вяземского (XIII, 89, 238, 240).

Поэтический опыт Крылова, как одного из величайших мастеров художественного слова, его опора на русскую сатирическую традицию, на просторечие и фольклор, его неразрывная связь с национально-демократической культурой, его ориентация на массового читателя, противостоявшая действительным и мнимым достижениям Карамзина и его школы как «литературе для немногих», обусловили тягу в «Беседу любителей русского слова», а не в «Арзамас» наиболее передовых писателей-декабристов, вместе со всеми их учениками и попутчиками.

Характеризуя кризис поэтики Карамзина и развал «Арзамаса», Ю. Н. Тынянов в своей замечательной работе о Пушкине и его литературном окружении конца десятилетия и начала двадцатых годов почему-то вовсе не уделит внимания ни Крылову, ни Гнедичу и их определяющей роли в

литературно-политической борьбе периода «Арзамаса» и «Беседы»³⁹. А между тем учителями и вдохновителями писателей-декабристов, группировавшихся вокруг «Беседы», были, конечно, не престарелый Державин и не мракобес Шишков, не эпигоны классицизма вроде Боброва, Хвостова, Ширинского-Шихматова, а именно Крылов и Гнедич. Их школу прошли Катенин, Грибоедов, Кюхельбекер В. Ф. Раевский, А. И. Одоевский и даже Рылеев. На Крылова и Гнедича ориентировался и молодой Пушкин, разрывая с традициями «Арзамаса» и создавая, с одной стороны, «Вольность» и «Деревню», а с другой, «Сказки» («Noel»), «Руслана и Людмилу» и весь цикл политических и сатирико-бытовых посланий и эпиграмм 1818—1820 годов.

С исключительной выразительностью о роли Крылова в становлении национально-демократической литературы десятилетия и двадцатых годов писал Кюхельбекер: «Сегодня ночью — читаем мы в его дневнике от 27 мая 1843 г. — я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что он первый поэт России и никак этого не понимает. Потом я доказывал переважно ту же тему Пушкину, Грибоедову, самого Пушкина, себя — я называл учениками Крылова... Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов и я, и даже Пушкин точно обязаны своим слогом Крылову»⁴⁰. Это было мнением не только соратника и современника Пушкина. Белинский во второй своей статье о «Сочинениях Александра Пушкина» утверждал в том же 1843 г., что только «ограниченность рода поэзии, избранного Крыловым», помешала ему быть тем, чем стал Пушкин — «главою и представителем целого периода литературы»⁴¹.

Но и в ту пору, когда величайшие из творческих достижений Пушкина во всех видах и родах поэзии и прозы отодвинули уже в далекое прошлое вопрос о новаторской функции произведений Крылова, великий баснописец продолжал оставаться живым связующим звеном между русскими просветителями конца XVIII в. и Пушкиным. Крылов хорошо помнил цензурно-полицейский террор, которым правительство Екатерины II ответило на выход в свет «Путешествия из Петербурга в Москву». Он же был единственным русским писателем тридцатых годов, которому пришлось слышать и гром пушек Пугачева во время осады восставшими мужиками Яицкого городка.

Нам известны две встречи Пушкина и Крылова, относящиеся к началу 1833 г., — одна из них произошла на засе-

дании Российской Академии 4 февраля⁴², а другая через два дня, на похоронах Н. И. Гнедича⁴³. Возможно, что в эти дни Пушкин и поделился впервые с Крыловым своими планами повести о Пугачеве (первые варианты нового замысла относились к январю 1833 г.) и тогда же условился о встрече с ним для беседы о событиях 1773—1774 годов. Встреча эта, состоявшаяся 11 апреля 1833 г. в Петербурге, дала Пушкину материал для интереснейшей записи нескольких рассказов Крылова о делах и людях занимавшей его исторической эпохи.

Рассказы Крылова, тщательно учтенные и в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке», до сих пор ни разу, однако, не привлекали к себе внимания ни издателей, ни биографов и комментаторов Пушкина. Приводим запись Пушкина, опубликованную нами впервые в 1936 г., по беловому автографу, хранящемуся ныне в Пушкинском Доме⁴⁴:

«Отец Крылова (капитан) был при Симонове в Яицк-
<ом> гор<одке>. Его твердость и благоразумие имели
большое влияние на [тогдашн.] тамошние дела и сильно
помогли Симонову, который в начале было спрусил
Ив<ан> Андр<еевич> находился тогда с матерью в
Орен<бурге>. На их двор упало несколько ядер, он пом-
нит голод и то, что за куль муки заплачено было его ма-
терью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицк-
<ой> креп<ости> был замечен, то найдено было в бу-
магах Пугачева в росписании, кого на какой улице пове-
сить, и имя Крыловой с ее сыном

Рейнсдорп был человек очень глупый. Во время осады
вздумал он было ловить казаков капканами, чем и насме-
шил весь город, хотя было и не до смеху. После бунта,
Ив. Крылов возвратился в Яицк<ий> г<ородок>, где
завелась игра в пугачевщину. Дети разделились на две сто-
роны: городовую и бунтовскую, и драки были значитель-
ные. Кр<ылов>, как сын капитанский, был предводителем
одной стороны. Они выдумали, разменивая плен-
ных, лишних сечь, отчего произошло в ребятах, между ко-
ими были и взрослые, такое остервенение, что принужде-
ны были игру запретить. Жертвой оной чуть не сделался
некто Анчапов (живой доньне). Мертваго, поймав его, в
одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве — Его
отцепил прохожий солдат⁴⁵.

11 апр. 1833 г.».

Пушкин широко использовал свои записи рассказов
Крылова в «Истории Пугачева». Так, на основании данных
Крылова о некоторых подробностях осады Яицкого город-
ка, не получивших отражения в официальных источниках,
Пушкин значительно выдвинул фигуру скромного армей-
ского капитана А. П. Крылова, как фактического руководи-
теля защиты крепости, и несколько иронически отнесся к
действиям полковника И. Д. Симонова, номинального на-
чальника крепостного гарнизона⁴⁶. Напомним, например,
описание в главе четвертой штурма Яицкого городка пу-
гачевцами 31 декабря 1773 г.: «Симонов оробел; к счастью,
в крепости находился капитан Крылов, человек решитель-
ный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка
принял начальство над гарнизоном и сделал нужные рас-
поряжения» (IX, ч. 1, 37).

Внимательно учтены были Пушкиным и характерные
историко-бытовые детали воспоминаний Крылова. Прежде
всего мы имеем здесь в виду данные о голоде в осажденном
Оренбурге: «Положение Оренбурга становилось ужасным
У жителей отобрали крупу и муку, и стали им производить
ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворо-
стом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу.
Куль муки продавался (и то самым тайным образом) за
двадцать пять рублей» (IX, ч. 1, 37—38).

Если точная справка о ценах на муку в голодающей кре-
пости взята была Пушкиным из воспоминаний Крылова
как красочная историческая деталь, то в презрительную ха-
рактеристику действий Оренбургской администрации из
записи от 11 апреля 1833 г. перекочевала беглая заметка
Крылова о генерале Рейнсдорпе: «Вздумал он, Рейнсдорп,
по совету Тимашева, расставить капканы около вала и, как
волков, ловить мятежников, развезжающих ночью близ го-
рода. Сами осажденные смеялись над сею военной хитро-
стью, хотя им было не до смеха» (IX, ч. 1, 36)

Воспоминания Крылова легли в основание и концовки
рассказа Пушкина о безуспешной попытке захвата пугачев-
цами Яицкого городка 20 января 1774 г.: «Пугачев скреже-
тал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова,
но и все семейство последнего, находившееся в то время в
Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырех-
летний ребенок, впоследствии славный Крылов» (IX, ч. 1,
45).

Отметим, наконец, перенос из «Истории Пугачева» в

«Капитанскую дочку» следующей ситуации: «Двести казаков при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж» и пр. (IX, ч. 1, 16). В главе седьмой романа действиями капитана Миронова перед вылазкой предшествовала следующая сцена появления казаков-пугачевцев: «В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы... Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги... «Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! Стреляй!»... Между тем мятежники видимо готовились к действию» (VIII, ч. 1, 322—323).

Опираясь на рассказы И. А. Крылова об его отце, герое осады Яицкой крепости, полунищим боевом офицере, выслужившемся из солдат, Пушкин создал в «Капитанской дочке» образ капитана Миронова, тоже выдвигенца из низов, дворянина только по своему чину, пасынка крепостнического государства, но принадлежащего к той славной когорте простых русских людей, которые, служа своей родине, никогда не щадили, по крылатому слову Радищева, «ради отечества ни здоровья своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства»⁴⁷.

В такой же мере, как образ «капитанской дочки» в печатной редакции романа нейтрализовал, с цензурной точки зрения, противоречия образа Гринева, введение в повествование капитана Миронова и поручика Ивана Игнатьевича, отсутствовавших в начальных планах, обеспечивало Пушкину возможность объективного показа исторически-правдивых черт и их антагонистов — самого Пугачева и его соратников, и при том не только в специальном научном труде, как он это сделал уже в 1834 г., но и в романе, рассчитанном на массового читателя.

Из всех дошедших до нас вариантов повести о дворянине-пугачевце только последний ее план («Валуев приезжает в крепость. — Муж и жена Горисовы. — Оба душа в душу. — Маша, их балованная дочь» и пр.) свидетельствует о том, что композиция будущей «Капитанской дочки» уже определилась в своих основных контурах. Новые наброски сцен и характеров позволяют установить, с одной стороны, все большее и большее снижение в замыслах Пушкина образа дворянина-интеллигента, оказавшегося вольным или

невольным соратником Пугачева, а с другой, выдвигение на авансцену новых персонажей, функцию которых в повествовании Гоголь с предельной точностью и остротой впоследствии определил как «простое величие простых людей».

В первых вариантах своих планов Пушкин опирался на предания о Шванвиче, в следующих — на документы о Башарине. Когда же «Капитанская дочка» была уже закончена и готовилась к печати, Пушкин в нескольких строках начатого им предисловия к повести (VIII, ч. 2, 928) глухо упомянул еще об одном источнике своего произведения:

«Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.

Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением.

Несколько лет тому назад в одном из наших Альманахов напечатан был »⁴⁸.

Что же именно имел в виду Пушкин, ссылаясь в наброске своего предисловия на какой-то «оренбургский анекдот» и переходя затем от этого «анекдота» к его альманашной публикации? Нам представляется, что недописанное Пушкиным предисловие имело непосредственное отношение к фактам использования в некоторых сценах «Капитанской дочки» мемуарных материалов, опубликованных в «Невском альманахе на 1832 год», под названием «Рассказ моей бабушки», за подписью А. К. (инициалы эти принадлежали оренбургскому литератору краеведу А. П. Крюкову)⁴⁹.

В основе этого рассказа лежала бесхитростная исповедь его героини, дочери коменданта Нижне-Озерной крепости капитана Шпагина, о тех злоключениях, которые выпали на ее долю после взятия крепости войсками Пугачева. Укрывшись после гибели отца в избе мельничихи, которая выдает капитанскую дочку за свою племянницу и тем спасает от домогательств Хлопуши, Настя Шпагина остается верна своему жениху, молодому офицеру Бравину, находящемуся в Оренбурге; с ним она и соединяется после освобождения Нижне-Озерной правительственными войсками⁵⁰.

Нет никаких сомнений, что введение в новую редакцию повести семьи капитана Миронова, равно как и многих конкретных деталей быта степной окраинной крепости, обусловлено было знакомством Пушкина, во-первых, с «Рассказом моей бабушки», опубликованным в «Невском альмана-

хе на 1832 год», а, во-вторых, с рассказами И. А. Крылова, частично записанными им еще в начале апреля 1833 г. Именно эти материалы и позволили Пушкину найти новое и, на этот раз, уже окончательное решение тех больших задач, которые стояли перед ним как автором романа на самую рискованную в условиях николаевской реакции тему — о крестьянской революции.

ВИ. ПРОБЛЕМАТИКА „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА“ И „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“ В СВЕТЕ „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ“ РАДИЩЕВА

22 мая 1833 г. Пушкин вчерне закончил первую редакцию «Истории Пугачева». Этот ранний вариант работы, судя по нескольким дошедшим до нас ее листкам и упоминаниям о ней в переписке поэта, представлял собою предельно сжатую сводку документальных данных о восстании, сделанную на основании материалов архива Военной Коллегии об операциях правительственных войск на фронте крестьянской войны 1773—1774 гг. В этой же сводке самым тщательным образом Пушкиным были использованы все те скудные свидетельства о Пугачеве и пугачевцах, которые проникли за полвека в русскую и зарубежную печать.

Весь материал, оказавшийся в распоряжении великого поэта на первой стадии его труда, характеризовал факты восстания с позиций лишь его усмирителей, так как документальными, мемуарными и фольклорными данными, идущими из лагеря Пугачева, Пушкин еще не располагал. Поэтому и в своих высказываниях о движущих силах крестьянской войны автор «Истории Пугачева» не мог еще идти дальше самых осторожных догадок, проверка которых требовала от него, с одной стороны, значительного расширения круга официальных источников, которыми он был ограничен весной 1833 г., а с другой — личного ознакомления с конкретными условиями хозяйственного и политического быта казачества, крепостного крестьянства и кочегого населения губерний, охваченных пожаром восстания.

Приурочив свою поездку в Казань, Оренбург и Уральск к осени 1833 г., Пушкин последние летние месяцы посвящает окончанию своих работ над собиранием материалов о пугачевщине уже не в государственных, а в частных петер-

бургских и московских архивах. В числе новых исторических источников, свидетельства которых особенно обогащают начальную редакцию «Истории Пугачева», оказывается в эту пору «Осада Оренбурга» П. И. Рычкова, замечательная рукописная хроника очевидца и первого историка занимавших Пушкина событий. Не раньше июня—июля 1833 г. Пушкин получает и редчайший экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, тот самый, который, по свидетельству поэта, в 1790 г. «был в тайной канцелярии»⁵¹.

Книга Радищева была самым широким литературным обобщением политических, социально-экономических и бытовых данных о Российской империи последней трети XVIII столетия. Мог ли Пушкин забыть об этом в пору своих работ над историей Пугачева? Разумеется, нет. Еще в 1823 г., полемизируя с Бестужевым по поводу его «Взгляда на старую и новую словесность в России», Пушкин с негодованием отмечал в одном из своих писем: «Как можно в статье о русской словесности забыть о Радищеве? Кого же мы будем помнить?» (XIII, 64). Позиция Пушкина в этом отношении осталась неизменной и десять лет спустя, когда он, мобилизуя для романа и монографии о крестьянской войне 1773—1774 гг. все, что только дошло до нас об этом в трудах русских и зарубежных «писателей, писавших о Пугачеве» (IX, 398), прежде всего вспомнил о «Путешествии из Петербурга в Москву».

Всем читателям Пушкина хорошо известно, что между 1833 и 1836 гг. он долго и упорно работал над статьями о Радищеве и его книге. Статьи эти занимают важное место в политической и литературной биографии Пушкина. Однако ни в одном из специальных исследований о Пушкине и Радищеве, ни в каких комментариях к «Истории Пугачева» или «Капитанской дочке» мы не найдем даже попутных упоминаний о том, что «Путешествие из Петербурга в Москву» понадобилось великому поэту именно в связи с его изучением пугачевщины и что книга Радищева оставила гораздо более значительный след в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке», чем все другие русские печатные свидетельства о восстании Пугачева, оказавшиеся в распоряжении Пушкина, не говоря уже о писаниях об этом иноземных авторов, недавно с такой тщательностью выявленных и исследованных в книге Г. П. Блока «Пушкин в работе над историческими источниками».

Книга Радищева не могла, конечно, дать Пушкину фактического материала для документации тех или иных глав «Истории Пугачева». Но значение этого источника для великого поэта было неизмеримо шире, ибо именно «Путешествие из Петербурга в Москву» помогло ему в исключительно быстрые сроки безошибочно определить свою позицию как исследователя крестьянской революции и взять при доработке «Истории Пугачева» осенью 1833 г. именно тот прицел, который обеспечил успех коренного переосмысления всех прежних его представлений о бесперспективности «русского бунта».

В своей «Истории Пугачева» Пушкин необычайно близко подошел к самым острым из социально-политических и философско-исторических проблем, поставленных в «Путешествии из Петербурга в Москву». Мы имеем в виду не только раскрытие и осмысление Радищевым противоречий между дворянином-помещиком и крепостным мужиком, как основного противоречия русской действительности, неустраняемого без ликвидации крепостного строя. Пушкин, как и декабристы, как и вся подлинно передовая дворянская общественность двадцатых—тридцатых годов, безоговорочно принимал этот тезис автора «Путешествия». Нас занимает сейчас другой круг вопросов, разрешение которых Радищевым шло гораздо дальше чаяний «дворянских революционеров». Дело в том, что в «Путешествии из Петербурга в Москву» вопрос о судьбах русского государства был впервые не голько принципиально отделен от вопроса о судьбе дворянства как правящего класса, но и оптимистически разрешен с позиций поработанных народных низов:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обогрили нивы свои. Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены»⁵².

Воскрешая в «Истории Пугачева» исторические образы людей, которые «потрясали государством» (VIII, ч. 1, 329), Пушкин, в меру цензурных возможностей, с некоторыми вольными и невольными оговорками и вуалировками, все же сумел впервые в русской историографии показать в действии тот аппарат народной революции, основные черты которого пытался угадать Радищев. Разумеется, и Пугачев,

и Белобородов, и Хлопуша, и Перфильев, и Падуров, и другие выдвиженцы из народных низов были «других о себе мыслей», чем Панины, Потемкины, Чернышевы, Бранты и Рейнсдорпы. Кровная связь новых «великих мужей» с массой трудового народа выражалась не только в том, что они воплощали в своей политической практике волю и чаяния этих масс, но и в том, что эта же самая масса повседневно их контролировала и не позволяла отрываться от нее.

«Пугачев не был самовластен, — замечал Пушкин в третьей главе «Истории Пугачева», — Яицкие казаки, зачинщики бунта управляли действиями пришедца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом, но наедине обходились с ним как с товарищем, и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни» (IX, ч. 1, стр. 27).

Именно в этом контексте радищевский образ обездоленного «бурлака, обогренного кровию», которому суждено разрешить многое «доселе гадательное в истории российской»⁵³, впервые получает конкретную документацию на страницах «Истории Пугачева», откуда в более яркой художественной функции перемещается затем и в «Капитанскую дочку».

В особой записке, представленной Пушкиным 26 января 1835 г. царю в дополнение к только что вышедшей в свет «Истории Пугачевского бунта», великий поэт обращал внимание Николая I на то, что в своем труде он не рискнул открыто указать на тот исторический факт, что «весь черный народ был за Пугачева» и что его лозунги борьбы с крепостническим государством нисколько не противоречили интересам прочих общественных классов.

«Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства, — утверждал Пушкин, — Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворянство склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны <...> Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей

цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно» (т. IX, ч. 1, 375—376)

Из этих конфиденциальных «замечаний» непосредственно вытекали два политических вывода, прямо формулировать которые Пушкин по тактическим соображениям не решился, но в учете которых царем не сомневался. Первый вывод заключал в себе признание известной случайности победы помещицье-дворянской монархии в борьбе ее с Пугачевым, а второй сводился к напоминанию о том, что «Пугачевский бунт показал правительству необходимость *многих перемен*». Однако сделанный Пушкиным тут же краткий перечень тех поистине ничтожных «перемен», которые были осуществлены государственным аппаратом (разукрупнение областей, «новые учреждения губерниям», улучшение путей сообщения и т. д.) красноречиво свидетельствовал о том, что неосуществленной осталась важнейшая и з реформ, подсказанных правительству уроками пугачевщины. Пушкин имел, конечно, в виду необходимость ликвидации крепостных отношений, таящих в себе угрозу «насильственных потрясений, страшных для человечества». Великий поэт ни в какой мере не претендовал в своем диагнозе на оригинальность. Каждая страница «Истории Пугачева», а впоследствии и «Капитанской дочки», являлась живой документальной и художественной иллюстрацией к политическим обобщениям и прогнозам, гениально намеченным Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву».

«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние, — формулировал Радищев свое понимание назревающего революционного взрыва крепостных отношений. — Прорвав оплот единожды, ни что в развитии противиться ему не возможно. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас мечь и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и безчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем... Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колько яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем текут ему во след, и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не

щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщениия, нежели пользу сотрясения уз. Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горе постепенно, и опасность уже вращается над глазами нашими. Уже время, вознесши косу ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитесь»⁵⁴.

Цитируемые нами строки из «Проекта в будущем», не являясь прямой авторской речью, очень близки впечатлениям от восстания 1773—1774 гг. в известной записке Д. И. Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах» (1784 г.). В этом нелегальном документе Российская империя характеризуется как «государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели». Напомним, что Н. М. Муравьев, приспособляя через тридцать с лишним лет записку Фонвизина к задачам агитационно-пропагандистской литературы декабристов, изменил в ней лишь внешний образ «мужика», приблизив его к историческому образу Пугачева: «государство <...>, которое бродяга, никем не наущенный, мог привести в несколько часов на край гибели»⁵⁵.

Вопросы, которые волновали еще Фонвизина и Радищева, продолжали оставаться, говоря словами Белинского, «самыми живыми, современными национальными вопросами» и в пору работы Пушкина над «Историей Пугачева». Несмотря на то, что процесс разложения крепостного хозяйства определялся в стране все более явственно, правовые нормы, регулировавшие жизнь помещицкого государства, в течение полустолетия оставались неизменными. Не претерпели существенных изменений и формы борьбы «дикого барства» или «великих отчинников», как называл Радищев крупных земельных собственников, со всякими попытками не только ликвидации крепостного строя, но и с какими бы то ни было подготовительными мероприятиями в этом направлении. Естественно поэтому, что Пушкин в середине 30-х годов с таким же основанием, как Радищев в 1790 г., а декабристы в 20-х годах, не возлагает никаких надежд на возможность освободительного почина, идущего от самих помещиков, и так же, как его учителя и предшест-

венники, трезво учитывает политические перспективы ликвидации крепостных отношений или сверху, «по манию царя», или снизу — «от самой тяжести порабощения», т. е. в результате крестьянской революции.

Характерно, однако, что ни Радищев, ни декабристы не склонны были эту грядущую революцию полностью отождествлять с пугачевщиной. В первой трети XIX столетия события крестьянской войны 1773—1774 гг. еще продолжали глубоко волновать представителей передовой русской интеллигенции, но отнюдь не в качестве примера положительного. Изучая опыт этого неудавшегося восстания, затопленного в крови десятков тысяч его участников, Радищев неудачу Пугачева («грубого самозванца», по его терминологии) объяснял тем, что восставшие не имели сколько-нибудь определенной государственной программы, не оторшились от царистских иллюзий и искали «в невежестве своем паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз»

Уроки пугачевщины в их понимании именно Радищевым определяют тактику и вождей декабристов, которые, по свидетельству Н. А. Бестужева, члена директории Северного общества, «положили себе правилом изучение сил и способов российского государства и его постановлений, дабы в случае какого-либо переворота и особенно ежели бы оный начался с низших сословий, быть готовым людям, могущим направить буйное стремление черни, которая никогда не знает сама, чего она хочет, чтобы, действуя совокупными силами и единодушно, остановить могущие от сего произойти неустройства и кровопролития»⁵⁶.

Опыт истории полностью, казалось, оправдал худшие из прогнозов Радищева и декабристов. Мы имеем прежде всего в виду кровавую эпопею восстания военных поселян, обусловившую, как это было показано в главе четвертой, вхождение летом 1831 г. в круг ближайших интересов Пушкина проблемы крестьянской революции, вопросов о ее движущих силах, ее лозунгах и перспективах. Эти интересы и привели великого поэта, с одной стороны, к «Путешествию из Петербурга в Москву», к проверке наблюдений и выводов Радищева, а с другой, к собиранию и изучению материалов по истории восстания Пугачева, как самого большого по своим масштабам движения народных масс за весь императорский период российской истории.

Именно «Путешествие из Петербурга в Москву» в конечном счете и помогло Пушкину осмыслить восстание

1773—1774 гг. не как случайную вспышку протеста угнетенных низов на далекой окраине, не как личную авантюру «злодея и бунтовщика Емельки Пугачева», а как результат антинациональной политики правящего класса, как показатель загнивания и непрочности всего крепостного правопорядка. Вот почему имена Радищева и Пугачева оказываются в центре внимания Пушкина и как романиста, и как историка, и как публициста. От Пугачева к Радищеву и от Радищева опять к Пугачеву — таков круг интересов Пушкина в течение всего последнего трехлетия его творческого пути.

Разумеется, было бы большою ошибкою ставить знак равенства между политическими концепциями Пушкина и Радищева даже в пору их известного сближения. Нельзя забывать, что в то время как автор «Путешествия из Петербурга в Москву» не питал никаких иллюзий относительно того, что интересы самодержавно-помещичьего государства несовместимы с чаяниями трудового народа, Пушкин пытался после разгрома декабристов как-то отделить самодержавие, как юридический институт, от его классовой базы и от его же военно-бюрократического аппарата. В этом отношении великий поэт был неправ, но зато он гораздо более четко, чем Радищев, отрывал ненавистную им обоим верхушку правящего класса, придворную и помещичью аристократию, от дворянской интеллигенции или, по его терминологии, «просвещенного дворянства»⁵⁷. С позиций последнего Пушкин вскрывал и несовместимость анархо-утопических идеалов крестьянской революции с исторически-прогрессивными тенденциями политического и экономического развития русского государства.

Очень показательно то внимание, которое уделено было в «Истории Пугачева» материалам о быте и нравах яицких казаков, восстановление вольностей которых и их распространение на «всякого звания людей», обездоленных дворянско-помещичьей диктатурой, входило в программу Пугачева: «Совершенное равенство прав, — писал Пушкин, характеризуя казачью общину, — атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений; круги, или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов; никаких письменных постановлений; в куль да в воду за измену, трусость, убийство и воровство: таковы главные черты сего управления»

(IX, ч 1, 9). С этой мечтой об установлении в будущей крестьянской империи патриархальных нравов казачьего круга были связаны и многочисленные «указы» Пугачева, тщательно скопированные Пушкиным и сохранившиеся в его архиве (IX ч. 2, 680—688). Обобщения, развернутые Пушкиным в четвертой главе его «Истории», особенно красноречиво свидетельствовали о той угрозе, которая определилась для русского народа и созданного им государства после первых же успехов Пугачева: «Киргиз-кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией; даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия» (IX, ч. 1, 40).

Для правильного понимания позиций Пушкина, как историка пугачевщины, много дает сделанная им самим запись спора его с великим князем Михаилом Павловичем, братом царя, о судьбах русского самодержавия, с одной стороны, и родового дворянства, деклассирующегося исключительно быстрыми темпами в условиях загнивающего крепостного строя, с другой. Имея, очевидно, в виду такие акты, как уничтожение местничества при царе Федоре Алексеевиче, как введение «Табели о рангах» при Петре, такие явления, как режим военной диктатуры императоров Павла и Александра, Пушкин, не без некоторой иронии, утверждал, что «все Романовы революционеры и уравнители», а на реплику великого князя о том, что буржуазия как класс таит в себе «вечную стихию мятежей и оппозиций», отвечал признанием наличия именно этих тенденций в линии политического поведения русской дворянской интеллигенции. Интеллигенции этой, по прогнозам Пушкина, и суждено выполнить ту роль могильщика феодализма, которую во Франции в 1789—1793 гг. успешно сыграло «третье сословие»: «Что же значит — писал Пушкин за несколько дней до выхода в свет «Истории Пугачева» — наше старинное дворянство с именными, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу Аристокрации, и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (XII, 335).

Этим пониманием диалектики русского исторического процесса вдохновлены были записи Пушкина в его дневнике от 22 декабря 1834 г., а в черновой редакции заметок об уроках пугачевщины, над которой Пушкин работал в январе следующего года, мы находим следы тех же самых политических раздумий: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворянин не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему» (IX, ч. 1, 478).

Планы повести о Шванвиче — дворянине и офицере императорской армии, служившем «со всеусердием» Пугачеву, в начале 1833 г. сменяются собиранием и изучением материалов о самом Пугачеве и вырастают в монографию о нем. Подготовка к печати этого труда идет в 1833—1834 гг. одновременно с работой над специальной статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву», которая в свою очередь сменяется в 1835 г. собиранием материалов для биографии Радищева. Для своего «Современника» Пушкин готовит в 1836 г. две статьи о Радищеве⁵⁸ и роман о Пугачеве. Проблематику именно этих своих произведений Пушкин и имеет в виду, отмечая в начальной редакции «Памятника», написанного вскоре после окончания «Капитанской дочки», свои права на признательное внимание потомков:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал

Комментаторская традиция, связывающая строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», представляется нам совершенно несостоятельной. Биографы Пушкина, опирающиеся на эту традицию, во-первых, не учитывают того обстоятельства, что Пушкин в 1836 г. никак не мог придавать большого значения своей юношеской нелегальной оде (он уже в 1825 г. называл ее «детской») и, во-вторых, забывают о том, что «Вольность» Пушкина не столько продолжала и развивала политические установки Радищева, сколько полемизировала с ними с умеренно-либеральных позиций Союза Благоденствия. С проблематикой крестьянской революции, определившей литературно-политическое значение «Путешествия из Петербурга в Москву», как вехи в истории русской национально-демократи-

ческой культуры, связываются не «Вольность» и не «Деревня», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Именно в этих своих произведениях Пушкин и пошел «вслед Радищеву».

VIII. ПУШКИНСКИЕ ЗАПИСИ РАССКАЗОВ И. И. ДМИТРИЕВА О ВОССТАНИИ ПУГАЧЕВА

1.

В числе источников «Истории Пугачева», впервые введенных в научный оборот Пушкиным, были и неизданные воспоминания И. И. Дмитриева. С разрешения мемуариста Пушкин перенес из его рукописи в свою книгу единственный в своем роде отчет очевидца о казни Пугачева в Москве. Рассказ И. И. Дмитриева частично вошел в основной текст заключительной главы «История Пугачева», а полностью воспроизведен был в примечаниях к ней, с точной ссылкой на рукописный первоисточник.

В «Истории Пугачева» получили отражение не только *записки Дмитриева*, но и некоторые его *устные рассказы* и справки, записанные Пушкиным⁵⁹. Проявив широчайшую инициативу в розысках архивных документов и редких книг о Пугачеве и его окружении, собирая и изучая местный фольклор, лично опрашивая очевидцев тех или иных событий, великий поэт корректировал и дополнял на основании устных свидетельств все то, что можно было извлечь из печатных и архивных источников о делах и людях последней крестьянской войны. Характерно, что больше всего занимали Пушкина при этих опросах те факты, которые или затемнялись в официальной историографии или обходились полным молчанием.

Записи рассказов И. И. Дмитриева, до сих пор вовсе не привлекавшие внимания исследователей, с исключительной непосредственностью обнажают методы собирания и отбора Пушкиным материала, необходимого ему для конкретно-исторического осмысления восстания Пугачева и его ликвидации.

Время и место записей Пушкиным рассказов Дмитриева до сих пор не установлено. Мы полагаем, однако, что и то и другое может быть определено с точностью, почти документальной. В самом деле: надпись, сделанная Пушкиным на обложке, в которой он объединил записи рассказов

Дмитриева с выписками из «Осады Оренбурга» П. И. Рычкова, гласит: «Рычков и Дмитриев. Предания» (IX, ч. 2, стр. 759). Пушкин получил первый список «Осады Оренбурга» Рычкова (всего этих списков у него было три) от историка Г. И. Спасского около 20 июля 1833 г. (XV, стр. 224 и 261). О том же, что к этому времени можно отнести и другую часть записей Пушкина, включенных в ту же обложку⁶⁰, свидетельствует определяемая нами дата встречи Пушкина с Дмитриевым в Петербурге в 1833 г.

Как известно, И. И. Дмитриев, оставив еще в 1814 г. пост министра юстиции, почти безвыездно проживал в Москве. Пушкин никогда не принадлежал к числу почитателей его как поэта: «И что такое Дмитриев?— писал он в марте 1824 г. Вяземскому, как бы резюмируя все свои многочисленные резкие высказывания об авторе «Чужого толка» и «Модной жены».— Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры одного из твоих посланий, а все прочее первого стихотворения Жуковского» (XIII, стр. 89).

С годами резкость высказываний Пушкина о произведениях Дмитриева ослабевает, поскольку и сам Дмитриев почти перестает писать и печататься, но личные их отношения, несмотря на старания общих друзей, несмотря на комплиментарные упоминания о Дмитриеве в «Евгении Онегине» и в «Повестях Белкина», налаживаются очень медленно.

Подчеркнуто официальный характер имеет и черновой набросок обращения Пушкина к Дмитриеву, сохранившийся в одной из записных книжек поэта, относящихся к 1833 году. Вот в каких словах Пушкин просил Дмитриева разрешить ему воспользоваться его неизданными мемуарами в будущей «Истории Пугачева»: «Случай доставил в мои руки некоторые важные бумаги, касающиеся Пугачева (собственные письма Екатерины, Бибикова, Румянцева, Панина, Державина и других). Я привел их в порядок и надеюсь их издать. В Историч. Записках (которые дай бог нам прочесть возможно позже) вы говорите о Пугачеве — и, как очевидец, описали его смерть. Могу ли надеяться, что вы, милостивый государь, не откажетесь занять место между знаменитыми людьми, коих имена и свидетельства дадут цену моему труду, и позволите поместить собственные ваши строки в одном из любопытнейших эпизодов царствования Великой Екатерины? (XV, стр. 62)

Черновик этот не датирован⁶¹, но место его в тетради Пушкина и самый характер записи (тот же карандаш) очень близки черновому наброску письма Пушкина к П. И. Соколову, время написания которого точно приурочивается к концу мая или к первым числам июня 1833 г. (XV, стр. 63). Датируя этими же днями черновой набросок письма к Дмитриеву, мы исходим из того, что 8 июня Дмитриев уже сам был в Петербурге⁶². Осведомленный о его предстоящем приезде, Пушкин, видимо, предпочел отложить переговоры с Дмитриевым о рукописи его исторических записок до личной встречи и не отправил своего письма по назначению. В пользу нашего предположения свидетельствует и тот факт, что ни *беловой текст* письма Пушкина, ни *ответ* на него Дмитриева никому не известны⁶³.

С полной точностью устанавливается не только дата приезда Дмитриева в Петербург. Мы располагаем печатной информацией и о чествовании Дмитриева на «дружественном обеде», организованном его почитателями 14 июля 1833 г. «по случаю отъезда И. И. Дмитриева из С.-Петербурга». В кратком отчете об этом обеде, опубликованном П. А. Плетневым на страницах «Северной пчелы» от 21 июля 1833 г., упоминались имена только двух сановников, участвовавших в чествовании⁶⁴. Но переписка Вяземского с Дмитриевым позволяет заключить, что на этом обеде состоялась и встреча Пушкина с Дмитриевым. Эта встреча была, разумеется, не единственным их свиданием в Петербурге, но тем не менее, есть все основания утверждать, что именно в этот день состоялась та беседа о делах и людях 1773—1774 гг., результаты которой Пушкин закрепил в своей записи рассказов Дмитриева. В пользу этого предположения свидетельствует самая концовка записи Пушкина, в которой рассказы Дмитриева о временах Пугачева перемежаются анекдотом сенатора Баранова о Державине и замыкаются репликой Дмитриева именно по этому поводу.

Сенатор Д. О. Баранов не принадлежал к числу лиц, с которыми Пушкин мог встречаться в эту пору где-либо запросто или официально⁶⁵. Но этот самый Баранов был старым знакомым и сослуживцем Дмитриева, а чествование Дмитриева 14 июля 1833 г. объединило людей не только нескольких поколений, но и разных литературно-общественных лагерей. Пушкин, видимо, и в этот день не упустил случая заговорить с Дмитриевым о временах Пугаче-

ва, а Баранов, вмешавшись в эту беседу, напомнил об участии в борьбе с Пугачевым Г. Р. Державина. Приводим эту часть пушкинской записи полностью:

«(Слышал от сен. Баранова). Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками — узнал, что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем — и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил, что за ним идут три полка.

Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства» (IX, ч. 2, стр. 498).

Пушкин внимательно учел рассказ Баранова в своей книге: «Державин — читаем мы в пятой главе «Истории Пугачева» — начальствуя тремя фузилерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне, с намерением идти служить у Пугачева, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение, и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул, и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен и сборище разбежалось» (IX, ч. 1, стр. 44).

Таким образом, в печатном тексте «Истории Пугачева» чалыковский эпизод оказался тесно увязанным с основными военно-политическими заданиями, которые осуществлял в эту пору Державин в Заволжье, командуя особым карательным отрядом, а его жестокая расправа с восставшими мотивировалась не как безответственное озорство, а как мера самообороны («Народ уж готов был остервениться»). Но сам Пушкин нисколько не сомневался ни в точности рассказа сенатора Баранова, ни в исторической характерности реплики Дмитриева. Не случайно именно эта реплика оказывается в ряду тех материалов, которые Пушкин счел необходимым в особой записке от 26 января 1835 г.

довести до сведения Николая I, фиксируя его внимание на политических уроках пугачевщины. Суждение Дмитриева, не вошедшее в печатный текст «Истории Пугачева», понадобилось Пушкину на этот раз для того, чтобы возможно ярче охарактеризовать пропасть, отделявшую победителей от побежденных. Поэтому оно и было дано в 1835 г. в гораздо более резкой редакции, чем в заметках 1833 г.: «И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» (IX, ч. 1, стр. 373).

Это аристократическое пренебрежение к «настоящей необходимости» в кровавых деяниях усмирителей пугачевщины, это упоение крепостников победой над восставшими мужиками, этот разгул самых низменных страстей, не контролируемых ни разумом, ни честью, ни совестью — все это прежде всего и захватывает внимание Пушкина в его беседе с Дмитриевым о событиях 1773—1774 гг.

2.

Вчитываясь в пушкинские записи рассказов Дмитриева, нельзя не подивиться тому, как осторожно подходил автор «Истории Пугачева» к своему собеседнику и как издалека начинал он свой опрос. Читателю может даже показаться, что инициатива разговора принадлежит вовсе не Пушкину — так медленно Дмитриев припоминает первые слухи о Пугачеве и так добросовестно Пушкин отражает эту неторопливую старческую речь. Свою запись он начинает рассказом Дмитриева о бегстве Пугачева из Казанской тюрьмы 29 мая 1773 г.:

«Дмитриев услышал о Пугачеве от слуги, ездившего в Симбирскую воеводскую канцелярию с его отцом. Возвратясь слуга рассказывал о важном преступнике, казаке, отосланном в Казань в оковах, с двумя солдатами, которые сели на облучки кибитки с обнаженными тесаками. Пугачев собирал милостыню, скованный с другим колодником. На улице Замочной решетки стояла кибитка etc (IX, ч. 2, стр. 497).

Почему, однако, передача этого рассказа о бегстве Пугачева обрывается Пушкиным в самом начале? Что значит это «etc»? С какими данными (печатными или рукописными) оно связывалось так тесно, что Пушкин мог не продолжать своей записи, ограничившись беглой ссылкой («etc»)

на известный ему исторический источник? Ответ на все эти вопросы дает рассказ о бегстве будущего самозванца из Казанской тюрьмы в первой редакции «Истории Пугачева», законченной Пушкиным до его встречи с Дмитриевым:

«Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он, под стражею двух гарнизонных солдат, ходил по городу для собирания милостыни. У Замочной Решетки стояла готовая кибитка. Пугачев подошел к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших, другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из городу» (IX, ч. 1, стр. 415).

Пушкин не воспользовался версией Дмитриева для управления этого момента биографии Пугачева ни в первой, ни в окончательной редакции своей «Истории»⁶⁶. Документальные данные, которыми он располагал, были авторитетнее предания, сохранившегося в памяти Дмитриева. Но рассказ последнего Пушкин все же записал, как любопытный вариант уже известного ему эпизода, обозначив отметкой «etc» отсутствие других расхождений между текстом «Истории» и данными Дмитриева. Впрочем, если мы сравним печатную редакцию «Истории Пугачева» с рукописною, то заметим, что рассказ Дмитриева все-таки пригодился Пушкину. Так, в первой редакции «Истории» оставалось неясным, что собою представляла «Замочная Решетка», у которой ожидала Пугачева кибитка с его освободителями. Рассказ Дмитриева позволил Пушкину внести в окончательный текст этого эпизода следующее топографическое уточнение: «у Замочной Решетки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка».

3.

Пушкин, расспрашивая Дмитриева о временах Пугачева, ни на минуту не забывает, что собеседник его не принадлежит к числу тех старожилых, свидетельства которых могли бы осветить внутреннюю историю восстания, воскресить живые образы его вождей, уяснить логику их действий. Поэтому Пушкин и получает от Дмитриева сведения не о людях из лагеря Пугачева, а о стане его врагов. Дмитриев хорошо помнит настроения правящего класса и в пору успехов Пугачева, и в пору его разгрома. Для него

близкими и родными были имена многих помещиков, чиновников и офицеров, умерщвленных пугачевцами. Он не мог быть равнодушным к именам и усмирителей восстания, запомнив на всю жизнь рассказы и слухи о них. Главнокомандующий граф П. И. Панин, генерал-майор В. А. Кар, капитан гвардии Н. Д. Дурново, присланный в Яицкий городок с специальными полномочиями из Петербурга, гвардии поручик Г. Р. Державин, Симбирский комендант Чернышев, председатель Казанской следственной комиссии П. С. Потемкин — вот чьи исторические характеристики Пушкин мог прекрасно уяснить в своих беседах с Дмитриевым.

Правда, мы знаем далеко не всё, что успел вспомнить и рассказать о них Дмитриев, ибо пушкинские записи не стенограмма и даже не всегда конспект, а порою лишь беглые заметки о тех или иных историко-бытовых деталях, о тех или иных действиях конкретных исторических лиц. Но все эти бытовые детали и все эти личные действия регистрируются отнюдь не нейтрально: «Полковник Чернышев был тот самый, о котором говорит Екатерина в своих записках <...> Генерал Потемкин имел связь с Устиньей, второй женою Пугачева <...> Панин вырвал клок бороды Пугачева <...> Кар был человек светский и слыл умником <...> Дурнов лежал между трупами» и т. д.

Если мы попробуем расшифровать эти предельно скупые записи на основании других исторических материалов, в том числе и писаний самого Пушкина, то нетрудно будет установить, что автор «Истории Пугачева» явственно строил свой опрос Дмитриева так, что последний из свидетеля против Пугачева невольно превращался в разоблачителя его врагов.

В самом деле, вместо того, чтобы мобилизовать возможно более новых фактов, подтверждающих традиционные утверждения дворянской историографии о жестокостях вождей крестьянского восстания, Пушкин закрепляет на бумаге только то, что дискредитирует больших и малых чинов крепостнического государства. В записях Пушкина перед нами встают «злодеяния» вовсе не Пугачева и его атаманов, а царских генералов, глумящихся над беззащитными, над военнопленными, над заключенными.

Напомним запись Пушкина о графе Панине, который «вырывает клок из бороды» скованного Пугачева; учтем данные о генерале Потемкине, который, руководя прави-

тельствующей следственной комиссией в Казани, «живет» с приводимой к нему из тюрьмы семнадцатилетней Устиньей Кузнецовой, женою Пугачева; вдумаясь в рассказ о Державине, вешающем крестьян лишь «из поэтического любопытства». Все это бьет в одну точку, все это не только разоблачает деятелей государственного аппарата крепостнического государства, но и показывает непреходимую пропасть между победителями и побежденными, между рабовладельцами и рабами. Даже такие безразличные, на первый взгляд, сведения, как справки Пушкина о первом главнокомандующем войсками, посланными против Пугачева, генерале В. А. Каре или о Симбирском коменданте полковнике Чернышеве, шедшем на выручку осажденного Оренбурга, но разгромленном Пугачевым, вносили характерные дополнительные черты в биографии «усмирителей», уже дискредитированных в основном тексте «Истории Пугачева». В самом деле, генерал Кар, трус и дезертир, самовольно сложивший с себя командование и бежавший с фронта в Москву, известен был не столько своими боевыми подвигами, сколько полицейскими операциями в оккупированной Польше, а полковник Чернышев («тот самый») стал и полковником и симбирским комендантом только потому, что его брат был некогда камер-лакеем при дворе цесаревны Екатерины Алексеевны. После дворцового переворота 1762 г. Екатерина сделала своего бывшего лакея бригадиром и комендантом Кронштадта, а брата его подполковником и начальником гарнизона Симбирска. Эти красочные биографии «екатерининских орлов», записанные Пушкиным со слов Дмитриева, без лишних слов напоминали о том, что Белобородов, Хлопуша, Чика, Перфильев и другие пугачевские «господа енаралы» по своим воинским и организаторским талантам и личным боевым доблестям были много выше командиров царской армии из камер-лакеев, тюремщиков и палачей.

Свои впечатления от действий тех и других Пушкин не всегда, разумеется, мог развернуть в печатном тексте «Истории Пугачева», но о позиции его и здесь достаточно четко свидетельствовали не только отдельные штрихи персональных характеристик Бранта, Кара, Рейнсдорпа, Потемкина, Чернышева, но и обобщения самых ответственных разделов повествования. Такова была, например, в главе третьей оценка действий высшего оренбургского командования: «К несчастью, между военными начальниками не

было ни одного, знавшего свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям» (IX, ч. 1, 23). Такова была едкая сентенция в главе седьмой о поведении казанского генералитета: «Если бы Потемкин и Брант сделали бы свое дело и успели удержаться хоть несколько часов, то Казань была бы спасена»⁶⁷. Такова же была характеристика в главе восьмой событий после разгрома Пугачева под Казанью: «Переправа Пугачева произвела общее смятение. Вся западная сторона Волги восстала и передалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались; иноверцы и новокрещенные стали убивать русских священников. Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий; чернь ловила тех и других, и отовсюду приводила к Пугачеву» (IX, ч. I, 68).

Резко характеризуя бездарность, расхлябанность, трусость и бессмысленную жестокость представителей государственного аппарата, чуждых и враждебных народу, не понимающих ни его нужд, ни чаяний, ни условий политического и экономического быта, Пушкин явно опирался в своей истории крестьянской войны 1773—1774 гг. на тот приговор, который вынесен был помещичье-дворянской верхушке еще в «Путешествии из Петербурга в Москву»⁶⁸. Концепцию Радищева в этом отношении полностью подтверждали и все те материалы, которые Пушкин получил для «Истории Пугачева» в результате опроса И. И. Дмитриева⁶⁹.

IX. МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ПУШКИНА О СЕКУНД-МАЙОРЕ Н. З. ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКОМ — ПЛЕННИКЕ ПУГАЧЕВА

В числе корреспондентов Пушкина в пору его работ над «Историей Пугачева» был и его старый приятель еще по «Зеленой лампе» В. В. Энгельгардт, известный петербургский остро слов, игрок и веселый прожигатель жизни. Инициативе именно Энгельгардта Пушкин обязан был получением из Смоленской губернии интереснейшей записки рассказов капитана Н. З. Повало-Швейковского, бывшего сперва пленником, а затем стражем Пугачева в 1774 г. Мемуары невольного пугачевца В. В. Энгельгардт передал Пушкину вместе с письмом, при котором они были им получены⁷⁰.

Вот текст письма С. Энгельгардта:

Почтеннейший братец,
Василий Васильевич!

Желая исполнить со всем усердием ваше поручение был у Швейковского. Написанное со слов его прилагаю к вам присоединя к Пугачеву и Биографию Н. З., почтенного героя времен Екатерины.

Будьте здоровы, веселы, а я ваш навсегда преданный сердцем и душою

С. Энгельгардт.

Р. С. Переписать на чисто не имел времени. Н. З. свидетельствует вам свое истинное душевное почтение и горит нетерпением читать скорее историю Пугачева.

Марта 21
1834.

К письму приложен был следующий документ:

БИОГРАФИЯ СЕКУНД-МАЙОРА

Николая Захарьевича Повало-Швейковского

Н. З. Швейковский <ковский> уроженец Смоленской Губернии Духовщинского уезда *. Жительство имеет в с. Море.

В службу вступил в 1769-м году в Измайловский полк рядовым и того же года произведен в капралы. В 1770-м году в Декабре месяце выпущен подпоручиком в Армию в Черниговский пехотный полк. В походах был при завоевании Крыма и по взятии г. Перекопа в 1771-м <году> произведен из подпоручиков в капитаны с переводом во 2-й Гренадерский полк, по Именному соизволению, за отличие. В том же году находился при взятии Кафы. В последствии продолжал службу в Пугачевской Экспедиции, за которую и получил награду от Государыни Императрицы 250-т душ, Витебской Губернии Невельского повета. в вечное и потомственное владение. В отставку уволен за болезнию 1777-го Генваря... дня...

Вот что говорит Швейковский о Пугачевской войне.

В плен попался к Пугачеву в 1773-м году в сражении при с. Горы в 25-ти верстах от Казани, в то время когда

* Он родился 1752-го года мая 9

бросился с несколькими рядовыми отбить захваченное у нас орудие.

По взятии немедленно представлен Пугачеву на самом поле сражения. Он был на добром коне. Свиту его составляли Яицкие казаки, из которых самые приближенные к нему Чика, Творогов — и нашей службы артиллерист Перфильев, перешедший к нему из Оренбургского поселения.

Пугачев росту среднего, чернобородый, глаза небольшие, быстрые, стану ровного, одет по-казачьи, восружен саблею и пистолетами за поясом.

Он у меня спросил: ты дворянин? — «Нет» — Так видно хорошо служишь. — Много ли здесь вас? — «500 человек».

Но нас только было 150-т. Меня обобрали и отдали под присмотр. Плен мой продолжался с утра до полуночи. В сие время, заметя оплошность моей подгулявшей стражи, нашел я средство уйти вместе с захваченными со мной рядовыми. В тот же день явился я к Премьер-Маиору Михельсону, расположенному с войском на Арском поле близ Казани. Михельсон известясь от меня мгновенно напал на Пугачева, разбил и преследовал вниз по Волге.

Последнее действие противу Пугачева происходило следующим образом. Быв разбит переправился он через Волгу с 30-ю человеками и скрылся в камыше, который по приказанию Суворова был зажжен Михельсоном. Потом Пугачев взят в плен и отвезен в Симбирск в деревянной клетке. Суворов сам привез его, следуя за ним в простой телеге.

Прежде сего дела я командирован был с полковником драгунского полка Абернибесовым для охранения Симбирска. При отправлении же Пугачева из Симбирска в Москву находился в числе стражи.

Путь наш продолжался не долго. Мы ехали на переменных обывательских лошадях, и везли Пугачева скованного по рукам и по ногам не в клетке, а в зимней кибитке. Всем сопутствующим разговор с ним был воспрещен. Пища ему производилась сытная и пред обедом и ужином давали порцию простого вина. Пленника везли только днем, а ночь проводили за крепким караулом на приуготовленных квартирах.

По прибытии в Москву, Пугачев содержался на монетном дворе и занимал особую комнату, имеющую вид тре-

угольника. Цепи имел на руках, ногах, и укрепленную в стене, поперек тела. Стража состояла из 10-ти человек Преображенцев и роты 2-го Гренадерского полка, под командою капитана Карташева. Главным же начальником конвоя был Гвардии Преображенского полка капитан Галахов, сопровождавший его от Симбирска до Москвы и находившийся при нем по день казни, т. е. по 10-е Генваря 1775-го года.

В продолжении заключения своего Пугачев не показывал робости, сохранял равнодушие. Одет был со времени плена в нагольный тулуп. Везли Пугачева на казнь в цепях, на зимнем ходу четверкою с фореитором. На санях был амвон, на котором возвышении и сидел Пугачев вместе с духовником своим, увещающим его к раскаянию. Народу было большое стечение. Пугачев часто обращался к окружающим и говорил, что он самый тот Пугачев, который назывался Петром III-м.

По прибытии к месту казни, палач отрубил ему прежде голову, а там принялся за руки и ноги; за это он в то же время был наказан кнутом.

Вместе с Пугачевым повешены и несколько сообщников его.

Примечания

Пугачев родом Донец и отличался наездничеством. При взятии Бендер граф Петр Иванович Панин за храбрость произвел Пугачева в значковые товарищи.

Пугачев от живой жены вступил в брак с Яицкою казачкою.

Она была дочь кузнеца — баба видная, имя ее Устинья Петровна.

На Дону семейство Пугачева составляли: жена, сын и дочь.

Перфильев заведывал у Пугачева артиллериею — но была она весьма малочисленна — едва ли доходила до 10-ти орудий. Войска его определить с точностию невоз-

можно — оно беспрестанно возрастало и уменьшалось. Тут было все — казаки, мужики и разные бродяги ⁷¹.

К моменту получения этих интереснейших записей работа Пушкина над «Историей Пугачева» была уже закончена. И тем не менее следы знакомства поэта с материалами Н. Э. Повало-Швейковского нетрудно установить в печатном тексте его книги. Мы имеем в виду прежде всего дополнения и поправки, внесенные Пушкиным (вероятно, уже в процессе корректуры) в ту страничку восьмой главы «Истории Пугачева», которая посвящена была изложению обстоятельств, связанных с перевозкой пленного самозванца в Москву:

Рукописная редакция

Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была быть решена. Его посадили в клетку, в которой привезен он был Суворовым из Яицкого Городка. Он был в оковах ⁷².

Печатная редакция

Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Его везли в зимней кибитке, на переменных обывательских лошадях; гвардии капитан Галахов и капитан Повало-Швейковский, несколько месяцев пред сим бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах.

Из трех фактических ошибок повествования Н. Э. Повало-Швейковского, в общем исключительного по своей точности, одна восходила к общераспространенному после казни Пугачева убеждению, что палач самовольно сократил мучительный обряд четвертования, две же другие касались Афанасия Перфильева, неверно названного «нашей службы артиллеристом» и «заведующим у Пугачева артиллериею». Престарелый пленник Пугачева явно спутал в своем рассказе двух вождей восстания 1773—1774 гг. — сотника Яицкого казачьего войска Афанасия Перфильева и отставного артиллерийского капрала Ивана Белобородова.

Известная близость этих двух исторических персонажей, объясняя сейчас нам причину ошибки (или обмолвки) Н. Э. Повало-Швейковского, позволила Пушкину во время работы его над материалами по истории пугачевщины объединить справки о Белобородове и Перфильеве общим заголовком. Рукопись, о которой идет речь (два полулиста белой бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1829»), обнаружена нами в архиве П. Е. Щеголева; никаких упоминаний о ней в печати никогда не было. Первый полулист занят заголовком, вто-

рой — выпиской и заметкой. Одно слово в выписке Пушкиным подчеркнуто и сопровождается знаком вопроса — очевидно отклик на нелепость обозначения: «в 10 ч. пополудни» вм. «в 10 ч. утра»:

О БЕЛОБОРОДОВЕ И ПЕРФ<ИЛЬЕВЕ>.

Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонер, пристал к Пуг. 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы, и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину. Взят в июле под Казанью, пытан в Тайной экспедиции, наказан кнутом 13 августа, потом привезен в Москву и казнен смертью на Болоте 5 сентября 1774 — в 10 час. *полу-*дни (?)

(Б.-Каменский)

Перфил<ев> сказал: пусть лучше зароят меня живого в землю, чем отдаться в руки Государыни ⁷³.

Материалы Д. Н. Бантыша-Каменского, полностью впоследствии опубликованные им самим в «Словаре достопамятных людей русской земли», оказались в распоряжении Пушкина уже после того, как «История Пугачева» была сдана в печать. Поэтому они и не получили отражения в тех исключительно кратких справках о Белобородове и Перфильеве, которые мелькают на страницах монографии великого поэта в главах первой, третьей, шестой и восьмой. И все же печатаемая нами выписка о Белобородове и Перфильеве пригодилась Пушкину. Всем памятна в одиннадцатой главе «Капитанской дочки» сцена спора Белобородова с Хлопушей, в которой так колоритно показаны были на основании документов Бантыша-Каменского и большой ум, и классовая бдительность, и непримиримость, и решительность этого «гщедушного и горбленного старичка с голубою лентою, надетой через плечо по серому армяку» (VIII, ч. I, 347—350). Характерно, что Пушкин, работая над материалами Бантыша-Каменского, учитывал только точные биографические и бытовые детали, восходящие к документальным и мемуарным первоисточникам, и самым решительным образом отбрасывал все то, что в этих писаниях обусловлено было ненавистью к героям крестьянской войны и типичными для консервативно-дворянской историографии формами казенной фразеологии.

Х. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ГРИНЕВА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ КОНЦА XVIII И НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ О ПУТЯХ И СРОКАХ ЛИКВИДАЦИИ РАБСТВА РУССКИХ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН

В концовке третьего из дошедших до нас вариантов плана повести о Шванвиче мы находим неожиданное упоминание имени Дени Дидро («Дидерот»). Великий французский просветитель упоминается в этом плане в связи с хлопотами старого Шванвича в Петербурге за сына, оказавшегося в рядах соратников Пугачева: «Отец едет просить Орлов<а>. Екатер<ина>. Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, ч. 1, 929).

Переписка Пушкина позволяет установить, что за четыре или за пять месяцев до этого варианта плана повести о Шванвиче он жил в Москве, где «хлопотал по делам», а на досуге беседовал с П. В. Нащокиным и читал «Mémoires de Diderot» (XV, 32).

О каких же «Мемуарах» Дидро шла речь в этом автопризнании и какое отношение они могли иметь к замыслу повести о Шванвиче? Ответ на этот вопрос облегчает библиотека Пушкина. В описании ее, сделанном Б. Л. Модзалевским⁷⁴, зарегистрирован четырехтомник под названием «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot, publiés d'après les manuscrits confiés, en mourant, par l'auteur à Grimm», Paris, 1830—1831.

Правда, самый внимательный анализ статей, заметок и писем Дидро в этом издании не дает материала ни для каких ассоциаций имени Дидро с именами Шванвича и Пугачева, но в предисловии к четырехтомнику дочери Дидро, госпожи Вандейль⁷⁵, внимательный читатель обнаруживает беглую справку о поездке Дидро в Петербург, позволяющую установить, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как Пушкин аттестовал Дидро, с сентября 1773 г. по февраль 1774 г. жил в столице Российской империи, т. е. находился в ней весь тот отрезок времени, который соответствует начальным месяцам восстания Пугачева и его наибольшим успехам. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочери».

Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего начального замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее, что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не со-

хранилось не только прямых высказываний, но даже путных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина.

В пору работы над повестью о Шванвиче поэт уже предполагал одним из редчайших списков еще не изданных тогда воспоминаний княгини Е. Р. Дашковой, в которых она на протяжении нескольких страниц передавала о своих спорах с Дидро о «рабстве наших крестьян». Эти споры происходили в Париже за три года до восстания Пугачева. Дидро, обращаясь к княгине Дашковой, как к влиятельной представительнице правящего класса, требовал от русских помещиков скорейшей эмансипации крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения»:

«Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, тогда как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления»⁷⁶.

Кн. Дашкова принадлежала к той придворной псевдоаристократии, к той «новой знати», которая приходила к власти с каждым новым дворцовым переворотом, с каждым новым временщиком. Пушкин, как это мы уже отмечали, характеризуя генетику образа А. П. Гринева, был глубоко враждебен этим «великим отчинникам», своекорыстно стоявшим на страже крепостного строя, идеологам социального и политического регресса. Разумеется, кн. Дашкова не с Гриневым и не с Дубровским, а с Паниным и Троекуровым. Пушкин прямо говорит об этом в черновой редакции первой главы романа «Дубровский»: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору. Дубровский с разстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне» (VIII, ч. 1, 162).

Сентенции мемуаров кн. Дашковой о «просвещении» и «свободе» в ее споре с Дидро, оправданные, с точки зрения

апологетов помещичье-дворянской диктатуры, всем последующим ходом русской истории, начиная от «ужасов» пугачевщины и кончая восстанием военных поселян, оставили определенный след не только в планах повести о Шванвиче, но и в окончательной редакции «Капитанской дочки». Мы имеем в виду философско-исторические афоризмы Гринева, прерывавшие в шестой главе романа рассказ о попытке, которой подвергают старого башкирца, распространявшего в Белогорской крепости «возмутительные листы» Пугачева: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (VIII, ч. 2, 318—319).

В главе тринадцатой эти же размышления Гринева подтверждались знаменитой формулой: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (VIII, ч. 1, 364), более развернутая редакция которой намечалась в «пропущенной главе» романа: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка» (VIII, ч. 1, 383—384).

Для правильного понимания сентенций, характеризующих политическую платформу Гринева, далеко недостаточно сослаться на их связь с установочными положениями кн. Дашковой в ее споре с Дидро, хотя эта связь и совершенно бесспорна. Не менее бесспорна близость мыслей Гринева и их словесного оформления тем пессимистическим суждением о революции, как о тормозе прогресса, которые Н. М. Карамзин декларировал в «Письмах русского путешественника».

«Утопия (или царство счастья) — писал Карамзин — будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания добрых нравов... Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот⁷⁷.

В устах Гринева эта убогая «философия истории» не

производила впечатления анахронизма, тем более что она документировалась в его же обращении к читателям ссылкой на «кроткое царствование императора Александра». Можно ли, однако, ставить знак равенства между суждениями автора «Капитанской дочки» и его «героя», если нам хорошо известно, что Пушкин всегда был глубоко враждебен тем идеологам дворянского консерватизма, мыслями которых популяризировал Гринева? Больше того, борясь с философско-историческими принципами и кн. Дашковой и Карамзина, Пушкин никогда, по собственным его словам, не принадлежал к числу «подобострастных» поклонников культуры XIX столетия, отвергая ее антигуманистический характер, свой век считал «жестоким веком» и, вопреки Гринева, не имел никаких оснований идеализировать Александра I, которому «подсвистывал» до самой его смерти.

И тем не менее, в течение ста с лишним лет биографы Пушкина искали в афоризмах Гринева ключей, определяющих общественно-политические позиции Пушкина последних лет его жизни. Произвольно ставя знак равенства между высказываниями Гринева и мыслями Пушкина о крепостническом государстве и о крестьянской революции («русском бунте, бессмысленном и беспощадном»), литературоведы и консервативно-дворянского лагеря и буржуазно-народнической ориентации, несмотря на всю полярность их конечных целей, десятки лет с одинаковой энергией поддерживали легенду о Гринева, как рупоре великого поэта, непосредственном выразителе его идей и настроений⁷⁸. Эта легенда в той или иной форме продолжает бытовать и в суждениях о Пушкине некоторых советских литературоведов⁷⁹.

Изучение генезиса суждений Гринева о культуре и революции привело нас к общественно-политическим взглядам кн. Дашковой и Карамзина. Как прописные истины, характерные для консервативно-дворянского мышления, дидактические афоризмы Гринева, в тех же словах и в той же художественной функции, определились в творческом сознании Пушкина не в процессе его работы над образами «Капитанской дочки», а в пору изучения им «Путешествия из Петербурга в Москву» и связанных с этим изучением попыток обеспечить любую ценою широкою дискуссии вокруг выдвинутых Радищевым проблем ликвидации крепостных отношений.

Книгу Радищева Пушкин знал давно — и знал не пона-

слышке. Не являлись новостью для него и те споры о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», которые волновали передовых русских людей десятых и двадцатых годов. Пушкин был близок с Н. И. Тургеневым еще в ту пору, когда будущий вождь Союза Благоденствия, негодуя на низкий культурный уровень верхушки русского помещичьего дворянства, следующим образом обобщал свои мысли по этому поводу: «Есть ли верить — писал он 14 ноября 1817 г. своему брату — словам тех, которые говорят, что образованность и свобода рождаются единственно от просвещения и что хорошие писатели всего более действуют на образованность, есть ли верить словам сим, то в последние 30 лет мы далеко должны бы уйти вперед и в образованности и в свободе. Но опыт не подтверждает слов сих». И далее: «Свобода, устройство гражданское производят и образованность и просвещение. Одно просвещение никогда не доведет до свободы. Франция прежде революции была в сем случае убедительным доказательством. Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению»⁸⁰.

В письме от 13 октября 1818 г. Н. И. Тургенев писал тому же своему корреспонденту: «Беда, как мы и в просвещении пойдем назад. По крайней мере идти недалеко — «Мы на первой странице образованности» — сказал я недавно молодому Пушкину — «Да, отвечал он, мы в Черной Грязи»⁸¹.

Эта Черная Грязь, как меткое символическое обобщение следствий затянувшейся диктатуры «дикого барства», имела в каламбуре Пушкина двойной упор, ассоциируясь не только с названием первой ямской станции на большой дороге из Москвы в Петербург, но и с заголовком заключительной главы книги Радищева, той главы («Черная Грязь»), где подытоживались его мысли о «горестной участи многих миллионов» жертв «самовластия дворянского»⁸².

Возобновляя старый спор Дидро с кн. Дашковой о «просвещении» и «свободе» и переводя эту дискуссию в условия десятых годов нового века, и молодой Пушкин и Н. И. Тургенев в борьбе со своими оппонентами имели на вооружении не только «Путешествие» Радищева. В 1804 г. вышла в свет в Петербурге книга И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России». Страстный противник крепостничества, автор этого замечательного трактата жил и работал в пору феодальной реакции, в пору лик-

видации всех завоеваний якобинской диктатуры во Франции, в пору величайшего кризиса революционно-демократических традиций, пересматриваемых и дискредитируемых и в Западной Европе и в России ревизионистами всех мастей. Поэтому И. П. Пнин, несмотря на весь пафос своей антикрепостнической проповеди, отнюдь не является сторонником революционной ломки исторически сложившихся форм социально-политического быта. Он верит и в реформы сверху, принимает не только царя, но и сословное государство, в котором все четыре основных «состояния» — дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство якобы «необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее». И все же Пнин отказывается понимать, почему в России «из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице». Автор «Опыта о просвещении» никак не может согласиться с тем, чтобы «участь только полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства, состояла в неограниченной власти некоторого числа людей, которые, позабыв в них подобных себе человек, — человек, их питающих и даже прихоти их удовлетворяющих, поступают с ними иногда хуже, нежели с скотами, им принадлежащими. Ужасная мысль!»⁸³.

Программа ликвидации крепостных отношений, с которой Пнин обращается к верховной власти, не выходила из рамок самой строгой легальности: «Самый важнейший предмет, долженствующий теперь занимать законодателя — писал Пнин — есть тот, чтобы предписать законы, могущие разделить собственность земледельческого состояния, могущие защитить оную от насилий, словом: сделать оную неприкосновенною. Когда таковые законы получат свое бытие, тогда только наступит настоящее время для внушения сему состоянию его прав, его обязанностей. Тогда только с успехом внушать ему можно будет пользы, от трудолюбия произтекающие; тогда только надежным образом можно будет привязать земледельцев к земле, как к источнику их удовольствий и благосостояния. Тогда только с уверительностью приступить можно к их образованию, открыть им путь к истинному просвещению, долженствующему пролить на них целебный и благотворный свет свой, который не будет уже противоречить, но будет соответствовать пользам, от оного ожидаемым» И. П. Пнин не сомневается, что «там,

где нет собственности, где никто не может безопасно наслаждаться плодами своих трудов, там самая причина соединения людей истреблена, там узел, долженствующий скреплять общество, уже разорван, и будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую»⁸⁴.

«Опыт о просвещении» И. П. Пнина лег в основание двух антикрепостнических трактатов, вышедших из среды декабристов. Один из них — «Нечто о состоянии крепостных крестьян» — принадлежал Н. И. Тургеневу и подан был в конце 1819 г. царю через С. Петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича⁸⁵. Второй — «О рабстве крестьян» — вышел в конце 1820 г. из-под пера капитана В. Ф. Раевского и представлял собою гневную отповедь на записку известного идеолога крепостников графа Ф. В. Ростопчина «Замечания на книгу графа Стройновского «Об условиях помещиков с крестьянами».

«Не человек созревает для свободы, — писал Раевский, — но свобода делает его человеком и развертывает его способности, ибо почти справедливо заключает Аристотель, что добродетель не может быть свойственна рабам <...> Голос некоторых «еще рано, еще умы не готовы» значит или выражает отголосок деспотизма и малодушия, — делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно... Крестьянин, не имеющий никакого голоса... может ли созреть для свободы? — Нет, отягощение приводит его в отчаянное бездействие и невнимание к собственному»⁸⁶.

Пушкин был одинаково близок и с Н. И. Тургеневым и с В. Ф. Раевским. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что спор о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», получивший отражение и в первой и во второй из отмеченных выше декабристских записок о необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений, ему был не менее памятен в пору работы над «Капитанской дочкой», чем парижская дискуссия Дидро с кн. Дашковой.

14 декабря 1825 г. спор о «просвещении» и «свободе» решен был не в пользу Пушкина и его друзей. Дальнейший ход событий в этом отношении был еще более неутешителен. Под непосредственным впечатлением победы июльской революции во Франции шеф жандармов граф Бенкендорф широко прокламировал в конце 1830 г. подсказанный ему кем-то тезис о том, что «Россию наиболее ограждает от бед-

ствий революции то обстоятельство, что у нас, со времен Петра Великого, всегда впереди нации стояли ее монархи; но, что по этому самому не должно слишком торопиться ее просвещением, чтобы народ не стал, по кругу своих понятий, в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти»⁸⁷.

По сути дела в этих установках не было ничего неожиданного, так как еще в 1826 г., в ответ на пушкинскую «Записку о народном воспитании»⁸⁸ тот же Бенкендорф от имени Николая I ставил на вид поэту, что принятое им «правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия», завлекшее его самого «на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочтительно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (XIV, 315). Новым в рекомендациях Бенкендорфа, сделанных через четыре года после прочтения царем «Записки о народном воспитании» Пушкина, было только то, что «просвещение» открыто признавалось несовместимым на данном этапе с интересами русского самодержавия, что, в свою очередь, отодвигало на самое неопределенное время и ликвидацию крепостных отношений.

К «Путешествию из Петербурга в Москву» и к его проблематике Пушкин вновь обратился через восемь лет после разгрома декабристов и через четыре года после восстания военных поселян. Свою работу над статьей о книге Радищева он начал в Болдине в первых числах декабря 1833 г., тотчас же после окончания второй редакции «Истории Пугачева». Эта редакция, созданная под впечатлением «Путешествия» Радищева, отменила первый вариант монографии о Пугачеве, вчерне законченный в конце мая 1833 г. в Петербурге.

Одной из наиболее острых и ответственных частей статьи Пушкина являлся тот ее раздел, который посвящен был предпоследней главе книги Радищева («Пешки») и назывался в его беловой редакции «Русская изба» (XI, 256—258). Именно в этой части своего трактата Пушкин характеризовал с наибольшей четкостью и полнотою правовое положение русского крестьянина и условия его экономического быта, именно в этом разделе определял свое отношение к особенностям подхода Радищева к занимавшим их обоим большим проблемам и реагировал на железную логи-

ку суждений автора «Путешествия из Петербурга в Москву» о неотвратимости крестьянской революции, если крепостничество в ближайшее же время не будет ликвидировано тем или иным путем сверху.

Трудности, стоявшие перед Пушкиным, как политическим публицистом, усугублялись еще и тем, что писал он не памфлет, рассчитанный на нелегальное распространение, а статью для печати. Он хорошо знал о невозможности в цензурно-полицейских условиях тридцатых годов хоть сколько-нибудь свободной трактовки вопросов, поставленных в книге Радищева, а потому и писал о них с исключительной осторожностью, избегая точных цитат и обнаженных формулировок, часто лишь «намекami, тем эзоповским, проклятым эзоповским языком, к которому — по известной сентенции В. И. Ленина — царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «легального» произведения»⁸⁹.

Самым заголовком «Русская изба» Пушкин искусно маскирует тематику этого раздела своей работы и усыпляет бдительность цензуры, переводя внимание читателя с политических выводов Радищева на его бытовые зарисовки. Якобы всерьез стремясь подорвать не только общие заключения, но и конкретные наблюдения автора «Путешествия», Пушкин иронизирует по поводу его «приторных и смешных» сравнений русского крестьянина с «несчастливыми африканскими невольниками», по поводу его «карикатурного» описания условий быта русского мужика. Пушкин подчеркивает свое нежелание быть голословным и, в противовес Радищеву, мобилизует большой и разнообразный сравнительно-исторический материал — от «Путешествия в Московию» Мейерберга и зарисовок французской деревни в книгах Лабрюйера и Севињи до «Писем из Франции» Фонвизина. И действительно, некоторые параллели, извлеченные из этих источников, давали основание утверждать, что быт французского хлебопашца XVII—XVIII столетия был не лучше, а хуже условий жизни русского крестьянина той же поры. Но, выдвигая этот тезис, утешительный для мышления апологетов крепостного строя, Пушкин как бы вскользь, на ходу, вносит в свои заключения оговорку, совершенно аннулирующую цепь всех предшествующих сопоставлений. В самом деле, если Фонвизину, путешествовавшему по Франции лет за 15 до «Путешествия из Петербурга в Москву», судьба русского крестьянина «показалась

счастливее судьбы французского земледельца», если по авторитетным свидетельствам других наблюдателей «судьба французского крестьянина не улучшилась» ни в царствование Людовика XV, ни в правление его сына, то впоследствии, по удостоверению Пушкина, «все это, конечно, переменялось» (XI, 231). В начальной редакции главы эти строки имели еще более выразительную концовку: «И я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина» (XI, 231). Пушкин прямо не говорит о причинах этого коренного изменения условий быта «французского земледельца», но и из контекста совершенно ясно, что французский крестьянин стал счастливее после царствования «преемника Людовика XV», т. е. в переводе с эзоповской фразеологии на общепонятную, после казни Людовика XVI и ликвидации революционным путем королевской власти и дворянского землевладения.

Итак, если судьбу французского крестьянина сделала «счастливой» победоносная революция, то в судьбе русского крестьянина со времен Фонвизина и Радищева никаких перемен к лучшему не произошло. Пушкин утверждает, что «ничто так не похоже на русскую деревню в 16.. г. *, как русская деревня в 1833 г. Не рискуя сравнивать наблюдения Радищева во время «Путешествия из Петербурга в Москву» со своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Оренбург и из Оренбурга в Болдино, Пушкин предлагает своему читателю взглянуть в зарисовки Мейерберга, сделанные почти 200 лет назад, и, со своей стороны, не находит существенных изменений к лучшему⁹⁰.

Каков же ход дальнейшей работы Пушкина над этой главою? В абзаце четвертом, непосредственно следующим за сентенцией о счастливом положении французского земледельца, Пушкин признается, что «строки Радищева навели на него уныние»: «Я думал о судьбе русского крестьянина

К тому ж подушное, боярщина, оброк,
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек? » (XI, 231)

Характерно, что Пушкин не рискует дать точную цитату из нелегального Радищева о тяжести крепостного гнета и заменяет ее строфой из басни Крылова «Крестьянин и Смерть». Но именно эта строфа Крылова не оставляет никаких сомнений в том, что Пушкин, говоря об «унынии»,

* Пушкин писал по памяти, а потому поставил только две первые цифры 1662 г., к которому относились впечатления Мейерберга.

которое вызвали в нем строки Радищева, имел в виду следующее обращение Радищева к правящему классу: «Звери алчные, пьавицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. ...С одной стороны — почти всесилие, с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребии заклепанного во узы, се жребии заключенного в смрадной темнице, се жребии вола во ярме»⁹¹.

В черновой редакции своих комментариев к этой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» поэт заставляет полемизировать с Радищевым вымышленного «английского путешественника», утверждающего, что свободный английский крестьянин «несчастнее русского раба» (XI, 231). В белой редакции главы «Русская изба» Пушкин заменяет английского туриста московским баринем, от имени которого якобы и корректирует Радищева⁹².

Этот «барин» подменяет в окончательной редакции «Русской избы» не только английского путешественника, но и самого Пушкина. Именно в его уста поэт вкладывает знаменитую сентенцию: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения *... Благосостояние крестьянина тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений, политических, страшных для человечества» (XI, 258).

Именно эти строки неоконченной статьи о книге Радищева и перенесены были Пушкиным через два года после их написания в шестую главу «Капитанской дочки», как автоцитата, необходимая для конкретизации в романе условных идеологических позиций его героя. Для того, чтобы обеспечить прохождение «Капитанской дочки» в печать, Пушкин должен был пойти на расщепление образа дворянина-интеллигента, оказавшегося в стане Пугачева. Положительными чертами Шванвича наделен был Гринев, а отрицательными — Швабрин. Но этого раздвоения оказалось

* Многозначие самого Пушкина.

недостаточно, и Пушкин решительно отделил Гринева — участника событий, молодого человека, невольно поддающегося обаянию Пугачева, от Гринева, — позднейшего мемуариста и комментатора, бесхитростного выразителя охранительной идеологии кн. Дашковой и Карамзина⁹³.

Еще в середине 1825 года, в дискуссии, которую затеял Пушкин в своей переписке с Рылеевым по поводу его уступок цензуре, обесцветивших «Войнаровского», будущий автор «Истории Пугачева» уже, видимо, близко подошел к тем самым решениям некоторых проблем эзоповского языка, которые впоследствии получили плоть и кровь в образах «Истории села Горюхина», «Повестей Белкина», «Путешествия из Москвы в Петербург» и даже «Капитанской дочки».

Письмо Пушкина с разбором «Войнаровского» не сохранилось, но об его установочных положениях мы можем судить по ответу Рылеева: «Ты во многом прав совершенно, особенно говоря о Миллере. Он точно истукан. Это важная ошибка; она вовлекла меня и в другие. Вложив в него верноподданнические филиппики за нашего великого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова» (XIII, 182).

Пушкину не пришлось смягчать впечатления от Пугачева автокомментариями, писанными не столько для читателей, сколько для цензоров — «говорить за Войнаровского для Бирукова». Но, для сохранения в романе своей концепции Пугачева и пугачевщины, Пушкин вложил в уста Гринева два-три «политических афоризма», демонстрировавших осуждение, с моралистических позиций правящего класса, крестьянского движения и его вождя. Принадлежность Гринева к стану врагов восставшего народа оттенялась и особенностями его фразеологии: «Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями»; «Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности»; «Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам» и т. п.

Для усиления органов надзора этой дымовой завесы было совершенно достаточно, но внимательный читатель с условными «верноподданническими филиппиками» прапорщика Гринева мог не считаться. Язык образов и логика фактов были гораздо убедительнее сентенций их комментаторов.

XI. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПУГАЧЕВА

1.

10 апреля 1834 г. Д. Н. Бантыш-Каменский, автор известной истории «Малой России» и собиратель материалов для «Словаря достопамятных людей русской земли», обратился к Пушкину с предложением прислать ему «верное описание примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева», почерпнутое «из писем частных особ» к его, Бантыша-Каменского, «покойному родителю» (XV, 125). Пушкин реагировал на это предложение очень живо и в середине мая получил уже от Бантыша-Каменского не только сводку данных о Пугачеве, но и специальную подборку биографических материалов о крупнейших деятелях восстания 1773—1774 гг. и об его усмирителях.

«Поспешаю представить вам, — писал Бантыш-Каменский 7 мая 1834 г., — 1) Биографию Пугачева; 2) Разные краткие биографии, числом двадцать, отличившихся в сие смутное время верностию к престолу и содействовавших самозванцу; 3) Биографию графа Петра Ивановича Панина, из коей, может быть, Вы что-либо почерпнете любопытное. Первою (то-есть Пугачевскою) бью вам челом, представляя оную в полное ваше распоряжение» (XV, 143—144).

Все эти материалы Пушкин получил уже после того, как работа над основным текстом «Истории Пугачева» была доведена им до конца и даже успела пройти через цензуру Николая I. Тем не менее поэт с большим вниманием отнесся к бумагам Бантыша-Каменского и в письме последнему от 3 июня 1834 г. высоко оценил их значение: «Не знаю, как Вас благодарить за доставление бумаг, касающихся Пугачева. Несмотря на то, что я имел уже в руках множество драгоценных материалов, я тут нашел неизвестные, любопытные подробности, которыми непременно воспользуюсь» (XV, 155).

Чем же Пушкин воспользовался из этих материалов в своей монографии? В печатном тексте «Истории Пугачева» ссылка на бумаги Бантыша-Каменского сделана только однажды, и то по весьма случайному и мало значительному поводу, — мы имеем в виду справку в VII главе об убитом в Казани генерале Кудрявцеве: «Извлечено из неизданного Исторического словаря, составленного Д. Н. Бантышом-Каменским» (IX, кн. 1, 115).

Можем ли мы заключить на основании единственной печатной ссылки Пушкина на «Словарь» Бантыша-Каменского, что в других случаях он в своей «Истории» к этому источнику не обращался? Разумеется, нет.

Об активном интересе Пушкина к материалам Бантыша-Каменского свидетельствуют, помимо отмеченного выше письма поэта, многочисленные выписки из его «Словаря», сохранившиеся в литературном архиве Пушкина. На особых листках Пушкин проконспектировал биографические справки об Аристове, Белобородове, Перфильеве, Хлопуше, Чике, Шелудякове, Рейнсдорпе, Кудрявцеве и Толстом, причем в некоторых из этих выписок точно сослался на «Словарь» Бантыша-Каменского, как на первоисточник⁹². Самое количество выписок Пушкина является лучшим доказательством того, что данные Бантыша, во-первых, оказались в самом деле полезными поэту и, во-вторых, предназначались не для вставок в уже законченную рукопись «Истории Пугачева», а для использования в следующем ее издании или в будущем романе.

Бумаги Бантыша-Каменского, как было отмечено выше, оказались в распоряжении Пушкина уже после того, как его работа прошла через царскую цензуру⁹⁴. В силу этого поэт не имел больше права ни на какие дополнения и поправки, выходящие за пределы обычной литературно-технической корректуры. Разумеется, это обстоятельство не означало, что Пушкин вовсе отказался от возможности уточнения тех или иных деталей своего повествования в процессе печатания книги, но всю эту правку приходилось делать с величайшей осмотрительностью, чтобы не идти на риск вторичного цензурного просмотра «Истории», разрешение которой к печати расценивалось многими как чистая случайность. И все же внимательный читатель может установить следы использования Пушкиным биографических справок Бантыша-Каменского не только в примечании о генерале Кудрявцеве в седьмой главе, но и в более ответственных частях «Истории Пугачева». Сошлемся, например, на строки о Белобородове в перечне сподвижников Пугачева, который Пушкин дает в третьей главе. Ни в черновых рукописях «Истории Пугачева», ни в беловой рукописной ее редакции мы не найдем имени Белобородова в ряду «главных сообщников» самозванца — Зарубина, Перфильева, Падурова, Овчинникова, Шигаева, Лысова, Чумакова, Хлопуши Имя Белобородова появляется здесь только в печатном тексте, то

есть лишь после того, как Пушкин познакомился с биографией Белобородова, составленной Бантышом-Каменским, и сделал из нее выписку, опубликованную нами выше (см. стр. 65).

На основании данных Бантыша-Каменского Пушкин дополнил перечень «главных сообщников» Пугачева самым именем Белобородова и отделил в его характеристике именно те черты, которые автор «Словаря достопамятных людей» считал для Белобородова основными.

«Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностью самозванца, — писал Пушкин. — Он вместе с Падуровым заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков» (IX, ч. I, 28). В рукописной редакции этого места имя Белобородова не упоминалось, а строка о Падурове отредактирована была следующим образом: «Падуров, предатель несчастного Чернышева», заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева» (IX, ч. I, 405).

Характеристика Белобородова, бегло намеченная в «Истории Пугачева», была художественно развернута впоследствии в «Капитанской дочке», в знаменитой сцене главы «Мятежная слобода», когда «тщедушный и сгорбленный старичок в голубой ленте», которого Пугачев называет то «Наумычем», то «фельдмаршалом» (вот когда Пушкину пригодилась его выписка из Бантыша-Каменского!), настаивает на том, что Гринев подослан в лагерь пугачевцев от «оренбургских командиров», и требует поэтому его повешения⁹⁵.

2.

В числе материалов, полученных Пушкиным от Бантыша-Каменского, была биография и самого Пугачева. Эта рукопись не сохранилась в архиве поэта ни в оригинале, ни в выписках, а между тем именно ей Бантыш-Каменский придавал особое значение, полностью предоставляя ее в распоряжение Пушкина и не сомневаясь в том, что он сумеет оценить значение этого дара.

Что же представляло собою полученное поэтом жизнеописание Пугачева? В какой мере оно могло оказаться для него полезным и чем объясняется молчание Пушкина об интересующем нас литературном документе в печатном

тексте «Истории Пугачева» и в переписке с Бантышом-Каменским?

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к публикациям Бантыша-Каменского, рассчитывая на то, что он мог сохранить у себя копию той рукописи, оригинал которой погиб в архиве Пушкина, и даже использовать этот дубликат в печати.

Разумеется, предоставляя в мае 1834 г. Пушкину свои материалы о Пугачеве, Бантыш-Каменский никак не рассчитывал на то, что он сможет когда-нибудь и сам их напечатать. Однако выход в свет «Истории Пугачева» на некоторое время снял запрет с этой не подлежавшей популяризации темы, и Бантыш-Каменский, закончив свой «Словарь достопамятных людей русской земли», получил осенью 1836 г. цензурное разрешение на публикацию в этом издании жизнеописаний не только усмирителей пугачевского восстания, но и его вождей. В ряду биографий последних в четвертом томе «Словаря» оказалась и широко развернутая (на 22 страницах) характеристика Пугачева: «Пугачев Емельян Иванов»⁹⁶.

Едва ли можно сомневаться в том, что текст этого жизнеописания Пугачева точно соответствовал его рукописи, бывшей в распоряжении Пушкина. Тождество обоих литературных документов подтверждается прежде всего той характеристикой, которую давал Бантыш-Каменский своим материалам, подчеркивая в письме к Пушкину наличие в них «верного описания примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева». Тождество это подтверждается еще и тем, что если бы Бантыш-Каменский, составляя «Словарь достопамятных людей русской земли», не располагал готовой биографией Пугачева, то он не мог бы обойтись в новом варианте этого жизнеописания без материалов «Истории пугачевского бунта». Между тем с начала и до конца биография Пугачева в «Словаре достопамятных людей» ориентирована была на допушкинскую концепцию пугачевского восстания, а документальной своей основой имела только небольшую часть тех материалов, которыми располагал Пушкин.

Опираясь на такие источники, как официальное «Описание происхождения дел и сокрушения злодея, бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева», как сентенция «О наказании смертною казнию самозванца Пугачева и его сообщников», как «Летопись Рычкова»⁹⁷, Бантыш-Каменский

вопреки его уверениям не располагал для своего труда никакими «письмами частных особ о Пугачеве», если не считать тех, которые опубликованы были в «Записках о жизни и службе А. И. Бибикова» (СПб., 1817). Из официальных источников Бантыш-Каменский механически перенес в свою компиляцию все их тенденциозно-памфлетные измышления о Пугачеве и многочисленные фактические ошибки при изложении событий 1773—1774 гг. Ни одна деталь повествования Бантыша-Каменского не представляла для Пушкина интереса новизны, чем, конечно, и объясняется его молчание об этой биографии как в основном тексте «Истории Пугачева», так и в примечаниях и приложениях к ней.

Однако, отвергая какую бы то ни было связь монографии Пушкина с рукописной биографией Пугачева, вошедшей впоследствии в «Словарь достопамятных людей русской земли», мы не можем не признать разительного сходства одной из страниц этой биографии с пушкинской зарисовкой Пугачева в начальных главах его «Истории». Это была именно та страница, которую Бантыш-Каменский характеризовал как «верное описание примет» и «образа жизни Пугачева». К чему же сводилось описание этих «примет»?

«Пугачев имел лицо смуглое, но чистое, сухощавое,— гласила эта справка,— глаза быстрые и взор суровый; левым глазом щурил и часто мигал; нос с горбом; волосы на голове черные, на бороде такие же с проседью; роста был менее среднего; в плечах хотя широк, но в поясище тонок; говорил просто, как донские казаки. Платье его состояло из плисовой малиновой шубы, под которою носил панцырь, и из таких же шаровар и казачьей шапки. С любимцами своими за обедом часто напивался допьяна; они сидели часто в шапках, а иногда в рубахах, пели бурлацкие песни, не оказывая ему никакого почтения; но когда он выходил на улицу, следовали за ним с открытыми головами. Являясь среди народа, Пугачев всегда бросал в толпу деньги...»⁹⁸

Нет надобности напоминать сейчас общеизвестные строки «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», чтобы доказать совпадение их даже в деталях с этими зарисовками Пугачева и его быта. Однако не будем спешить с выводами, ибо все то, о чем повествовал Бантыш-Каменский, принадлежало не ему, а его первоисточникам, хорошо известным Пушкину в подлинниках.

В основном тексте «Истории Пугачева» Пушкин не дал или, точнее, не мог еще дать той портретной и речевой характеристики своего героя, которую он с таким мастерством развернул через несколько лет в «Капитанской дочке». Но, даже не ставя себе в 1834 г. этих задач, великий поэт уже в «Истории Пугачева» полностью использовал все первоисточники Бантыша-Каменского. В самом деле, первые краткие сведения о внешнем облике Пугачева Пушкин дает во второй главе своей работы, показывая будущего вождя крестьянского восстания после его бегства из казанской тюрьмы: «незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худошав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою» (IX, кн. I, 15). В главе четвертой Пушкин закрепляет это изображение, относящееся к лету 1773 г., деталями более раннего портрета Пугачева (1771): «Он был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худошав; волосы имел темнорусые, бороду черную, небольшую и клином» (IX, кн. I, 41).

В обеих этих справках Пушкин опирается не на компиляцию Бантыша-Каменского, а на подлинные документы: в первом случае на показания яицкого казака Кожевникова, у которого скрывался Пугачев после своего бегства из казанской тюрьмы, во втором — на описание примет Пугачева, сделанное со слов его жены⁹⁹.

В приложениях к «Истории Пугачева» Пушкин печатает «Летопись» П. И. Рычкова, в которой находим мы еще один источник Бантыша-Каменского — показания о Пугачеве писаря оренбургского соляного правления Полуворотова: «Рост его <Пугачева> небольшой, лицо имеет смуглое и сухощавое, нос с горбом; а знаков он <Полуворотов> на лице его не приметил, кроме сего, что левый глаз щурит и часто им мигает. Волосы на голове черные, борода черная же, но с небольшою сединою. Платье имеет: шубу плисовую малиновую, да и шаровары такие ж; шапку казачью. Речь его самая простая и наречия донских казаков; грамоте или очень мало, или ничего не знает» (IX, кн. I, 235).

Пушкин полностью перепечатывает первоисточник и основную часть отмеченного выше рассказа Бантыша-Каменского — показания корнета Пустовалова, бывшего в плену у Пугачева и бежавшего 16 марта 1774 г. из Берды в Оренбург.

«Лицо имеет он, — сообщал Пустовалов о Пугачеве, — смуглое, но чистое, глаза острые и взор страховитый; бороды и волосы на голове черные; рост его средний или и меньше; в плечах хотя и широк, но в поясице очень тонок; когда случается он в Берде, то всё распоряжает сам и за всем смотрит не только днем, но и по ночам; с сообщниками своими, которых он любит, нередко вместе обедает и напивается допьяна, которые обще с ним сидят в шапках, а иногда-де и в рубахах и поют бурлацкие песни без всякого ему почтения; но когда-де выходит он на базар, тогда снимают шапки и ходят за ним без шапок, а он сам, когда публично ходит, то почти всегда бросает в народ медные деньги» (IX, ч. 1, 324).

Показания Пустовалова, широко использованные Пушкиным в тексте третьей главы «Истории», извлечены были им из «Летописи Рычкова» и вместе с последней перешли в «приложения» к «Истории Пугачева»¹⁰⁰.

Мы напомним об основных документальных источниках, с помощью которых Пушкин реконструировал в своей «Истории» портретные черты Пугачева, вовсе не для того, чтобы показать несоизмеримость сведений Пушкина с эрудицией даже самого осведомленного из его предшественников. Для раскрытия пушкинского понимания образа Пугачева гораздо существеннее другой вывод, который позволяют нам сделать его первоисточники. И в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» портрет Пугачева является не простым обобщением впечатлений от его живого образа, зарегистрированных в тех или иных документах и мемуарах, а результатом большой работы по изучению, критическому отбору и политическому переосмыслению всех этих исторических материалов.

Бантыш-Каменский смотрит на Пугачева глазами его классовых врагов, глазами его судей. Поэтому их свидетельства биографом только суммируются, а не анализируются. Если, например, в показаниях корнета Пустовалова отмечается в ряду других черт самозванца его якобы «страховитый взор», то составитель «Словаря достопамятных людей» закрепляет этот штрих в справке о Пугачеве как основной («взор суровый»), несмотря на то, что в других свидетельствах о Пугачеве эта «примета» отсутствует. Решительно отбрасывает ее и Пушкин.

Почти во всех показаниях о Пугачеве подчеркивается его неграмотность («грамоте или очень мало, или ничего не

знает», «безграмотный Пугачев», «он же вовсе и грамоте не умеет»). Повторяется об этом не раз и в биографической справке Бантыша-Каменского. Разумеется, не может обойти эту характерную деталь и Пушкин. Но уже в «Замечаниях о бунте», представленных Николаю I в дополнение к печатному тексту «Истории», великий поэт утверждал, что эта «безграмотность» Пугачева нисколько не мешала ему в его воззваниях к народу находить именно те слова, образы и формулировки, соперничать с которыми никак не могли ни правительственные манифесты, ни «публикации» высокообразованного начальства на местах: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам, — писал Пушкин, — есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более действовало, что объявления, или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (IX, ч. 1, 371).

К тем же образцам «народного красноречия», о которых упоминал здесь Пушкин, прямое отношение имели и два анекдота о Пугачеве, которые услышал он, возможно, от И. И. Дмитриева еще летом 1833 г., но записал только год или полтора спустя:

«Когда Пугачев сидел на Монетном дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтобы он заговорил. Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I, во время Персидского похода услыша, что могила Стеньки Разина находилась не в далеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть кости славного бунтовщика! — Вот какова наша слава!». Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева.

«В другой раз некто **, симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. ** был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много я перевешал вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал»¹⁰¹.

И все же подлинный исторический образ вождя крестьянского восстания не получил яркого художественного воплощения на страницах «Истории Пугачева». Не имея возможности полным голосом говорить о Пугачеве по соображениям цензурно-тактического порядка, Пушкин еще в большей степени был стеснен в этих страницах своего труда усвоенной им политической концепцией событий 1773—1774 гг. Эта концепция, уходящая своими корнями еще в пору изучения Пушкиным событий периода крестьянских войн и польской интервенции начала XVII в. и истории первого самозванца, закреплена была известной недооценкой личности самого Пугачева в «Путешествии из Петербурга в Москву» и теми соображениями, которые Пушкин нашел об этом в письмах генерала А. И. Бибикова к Д. И. Фонвизину: «Пугачев, — утверждал Бибиков, — не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» (IX, ч. 1, 45).

Эти строки, которые Пушкин с таким сочувствием выдвигал в пятой главе своей «Истории», дают ключ к его толкованию взаимоотношений Пугачева и его атаманов в третьей главе («Пугачев не был самовластен» и проч.). Эти же установки определяют позиции исследователя в главе восьмой: «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков; и каждая имела у себя своего Пугачева» (IX, ч. 1, 69).

Вот почему в «Истории Пугачева» оказались только мастерские этюды к портрету Пугачева, но не цельный и законченный образ вождя крестьянского движения.

Не менее далек от оригинала был и тот вариант нарочито суженной характеристики Пугачева, который дал Пушкин в своем обращении в 1835 г. к поэту-партизану Д. В. Давыдову при посылке ему «Истории пугачевского бунта»:

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой¹⁰².

Декабрист Н. И. Тургенев еще в 1819 г., в пору своего постоянного общения с Пушкиным, бросил замечательную мысль о том, что многие пробелы русской историографии объясняются только тем, что «историю пишут не крестьяне, а помещики»¹⁰³. Работая над «Историей Пугачева», Пушкин сделал все, что только было в его силах, чтобы избежать этих упреков. Едва закончив в Болдине новую редакцию своего труда (в отмену той, которая сложилась к середине 1833 г.) Пушкин в одном из черновых набросков письма к Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. отмечал, что «по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни господствующему образу мыслей» (XV, 226).

Как известно, рупором этого «господствующего образа мыслей», то есть общественного мнения крепостников, явился тотчас по выходе в свет «Истории Пугачева» министр народного просвещения и начальник Главного управления цензуры С. С. Уваров.

«В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают, — отмечал Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 г. — Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (XII, 337).

Глава цензуры реагировал на «Историю пугачевского бунта» точно так же, как и в свое время Екатерина II на «Путешествие из Петербурга в Москву», назвав его страницы «совершенно бунтовскими»: «Намерение сей книги на каждом листе видно, — писала царица. — Сочинитель <...> ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства»¹⁰⁴.

Переходя от «Истории Пугачева» к «Капитанской дочке», Пушкин не мог уже не учитывать последствий сближения своей позиции с позицией Радищева, тем более, что сближение это подсказывалось не только мнительностью и злонамеренностью тех или иных его критиков, но самым существом дела — особенностями пушкинской трактовки крепостнической общественности с «великими отчинниками» во главе и его же оценкой перспектив крестьянской революции. Трудности показа в этих условиях образа вождя крестьянского движения не упрощаются, а увеличиваются. В период между «Капитанской дочкой» и «Историей Пуга-

чева» Пушкину приходится работать над особыми полеми-ческими примечаниями к «Путешествию из Петербурга в Москву» и над статьей «Александр Радищев». Этот предварительный политический комментарий к роману оказывается особенно необходимым потому, что поэт решительно отказывается от своего прежнего подхода к Пугачеву как к человеку более или менее случайному, как к слепому оружию в руках лицких казаков, как к «прошлецу, не имевшему другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной» (IX, ч. 1, 27).

В окончательной редакции романа от этой трактовки его героя почти не остается уже и следа. Мы говорим «почти», ибо образ Пугачева дан в «Капитанской дочке» не однолинейно, а в разных профилях и аспектах, в речах и действиях, о которых передает читателю не только автор романа, но и Гринев, от имени которого ведется повествование, человек совсем иных интеллектуальных масштабов и социально-политических горизонтов, чем Пушкин.

В подчеркнута наивных философско-исторических сентенциях и моралистических афоризмах Гринева, комментировавших события романа, окончательно определился тот метод художественного письма, который стал занимать Пушкина примерно с 1827 г. (сатирический набросок «Если звание любителя отечественной литературы само по себе достойно уважения» (XI, 62—63), ясно обозначился в «Истории села Горюхина» (1830 г.) и ожил вновь в публицистике 1833—1836 гг.

Это был уже метод не только новых форм «эзоповского языка», но и функционально связанных с последним некоторых других приемов литературной экспозиции. Все больше и больше привлекает к себе творческое внимание Пушкина работа над сатирическим образом бесхитростного выразителя консервативно-помещичьей идеологии, который то пытается полемизировать с Радищевым (московский барин, член «английского клуба», едущий из Москвы в Петербург), то негодует на «Историю Пугачева» (образ престарелого поединца «критика» в ответе Пушкина на рецензию Броневского), то громит всю современную мировую литературу с позиций мракобесов Российской академии, не замечая комического эффекта своих претензий («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной»). Таков же был и Гринев как автор записок о временах Пугачева, когда он «с важ-

ностью забавной» судил об успехах европейского просвещения, о «кротком царствовании Александра I» и о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном». Все эти образы генетически связаны между собою, выполняя одну и ту же литературно-политическую функцию и в художественной прозе и в публицистике Пушкина¹⁰⁵.

* * *

Пушкин, конспектируя летом 1833 г. рукописную хронику П. И. Рычкова «Осада Оренбурга», обратил внимание на рассказ о поведении пленного Пугачева в ставке графа П. И. Панина: «В Синбирск привезенный на дворе г. Панина Пугачев отвечал ему дерзко и смело (хотя и признавался в самозванстве), за что граф ударил его несколько раз по лицу» (IX, ч. 2, 772).

Поэт И. И. Дмитриев, рассказывая Пушкину об этой сцене, вспомнил еще одну жуткую ее деталь: «Панин вырвал клоч из бороды Пугачева, рассердясь на его смелость» (IX, ч. 2, 498).

В окончательном тексте «Истории Пугачева» Пушкин тщательно учел оба эти свидетельства. Но самый факт развертывания в самостоятельный эпизод кратких мемуарных данных о бессудной расправе графа Панина с Пугачевым¹⁰⁶ не мог бы, конечно, иметь место, если бы в распоряжении Пушкина не оказалось еще одного источника. Мы имеем в виду то предание о Панине и Пугачеве, которым Пушкин это столкновение политически и психологически мотивировал в восьмой главе «Истории Пугачева»: «Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом.— Кто ты таков?— спросил он у самозванца.— Емельян Иванов Пугачев,— отвечал тот.— Как же смел ты, вор, назваться государем?— продолжал Панин.— Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает <...> Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клоч бороды» (IX, ч. 1, 78).

Кто же из симбирских старожилов (а сцена эта едва ли могла быть записана в другом месте) познакомил Пушкина

с преданием о бесстрашной реплике Пугачева, которую не мог вспомнить Дмитриев и которую не записал Рычков? Естественнее всего предположить, что на помощь Пушкину здесь пришел П. М. Языков, старший брат Н. М. Языкова, один из интереснейших представителей симбирской интеллигенции тридцатых годов, знаток местного края и ревнитель его преданий, этнограф, историк и натуралист, с которым Пушкин провел несколько часов на пути в Оренбург и вновь увидался по дороге в Болдино¹⁰⁷. Именно о нем Пушкин писал 12 сентября 1833 г. жене из Симбирска: «Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвычайно замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащокина. Я провел с ним вечер» (XV, 80 и 83).

В пользу симбирско-языковской локализации предания о смелой пугачевской шутке, вызвавшей кулачную расправу с ним графа Панина, свидетельствует и тот факт, что именно в Симбирской губернии записана была А. М. Языковым, другим братом поэта, народная песня о беседе Пугачева с его тюремщиком:

Судил тут граф Панин вора Пугачева.
— Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иваныч,
Много ль перевешал князей и боярей?
— Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил
За твою-то бы услугу повыше подвесил¹⁰⁸.

Предание, рассказанное Языковым, оставило след не только в «Истории Пугачева». Слова из живой речи пленного крестьянского вождя, записанные Пушкиным в Симбирске в 1833 г., явились тем зерном, из которого выросла вся речевая характеристика Пугачева в «Капитанской дочке».

Радищев, характеризуя мотивы или, как он говорил, «голоса русских народных песен», в них, в этих «голосах», предлагал искать ключи к правильному пониманию «души нашего народа»¹⁰⁹.

Пушкин с исключительным вниманием отнесся к этим творческим заветам автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и уже во время своей поездки в Заволжье, Орен-

бург и Уральск именно в фольклоре нашел недостававший ему материал для понимания Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения и свойств его характера как типических положительных черт русского человека. Это было открытием большой принципиальной значимости, ибо без него было бы невозможно и новаторское разрешение задач воскрешения подлинного исторического образа Пугачева.

В процессе работы над монографией и романом Пушкин явился и первым собирателем и первым истолкователем устных документов народного творчества о Пугачеве, памятью о котором более полувека продолжало жить крестьянство и казачество Поволжья и Приуралья. Подобно тому, как еще в пору своей михайловской ссылки великий поэт в «мнении народном» нашел разгадку успехов первого самозванца и гибели царя Бориса, так и сейчас, в осмыслении образа нового своего героя, он опирался не только и не столько на свои изучения памятников крестьянской войны в государственных архивах, сколько на «мнение народное», запечатленное в преданиях, песнях и рассказах о Пугачеве. В 1825 г. Пушкин считал Степана Разина «единственным поэтическим лицом русской истории» (XIII, 121); пугачевский фольклор позволил ему эту формулу несколько расширить.

«Уральские казаки (особливо старые люди), — острожно удостоверял Пушкин в своих замечаниях о восстании, представленных царю 31 января 1835 г., — доньше привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал. — Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович» (IX, ч. 1, 373).

Без учета этих ярких и волнующих рассказов свидетелей и участников восстания, непосредственно воздействовавших на Пушкина своей интерпретацией личности Пугачева, как подлинного вождя крестьянского движения, как живого воплощения их идеалов и надежд, «Капитанская дочка» не могла бы, конечно, иметь того политического и литературного звучания, которое она получила в условиях становления русского критического реализма как новой фазы искусства. Мастерство Пушкина, как и мастерство

Толстого, это мастерство раскрытия самых существенных сторон действительности, самых существенных черт национального характера, показываемого не декларативно, не статично, а в живом действии, в конкретной исторической борьбе.

В своих суждениях по поводу «Путешествия из Петербурга в Москву», оформившихся примерно за два года до «Капитанской дочки», Пушкин с гордостью отмечал высокий интеллектуальный и моральный уровень русского трудового народа: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны»¹¹⁰. Этот перечень положительных свойств русского крестьянина как черт типических, закрепленных в самых неблагоприятных условиях его политического и экономического быта, был полностью повторен, углублен и дополнен в знаменитой формулировке Белинского.

«Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен? — спрашивал великий критик во второй своей статье о «Деяниях Петра Великого» и тут же отвечал: «Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость, — на обухе рожь молотить, зерна не обронить, нужно учиться калачи есть — молодечество, разгул, улаливость, и в горе и в радости море по колено»¹¹¹. Всеми этими качествами, родившимися в конкретных материальных условиях и закрепившимися в многовековой исторической борьбе, в избытке наделен в «Капитанской дочке» именно Пугачев. Именно он является воплощением неиссякаемой творческой энергии и всех высоких моральных и интеллектуальных качеств русского народа — ясный ум, свободолюбие, великодушие, справедливость, бесстрашие, находчивость, удаль и широта натуры.

Образ Пугачева Пушкин заново освещает не только своим пониманием лучших свойств русского человека. Вся речевая его характеристика строится по тем же принципам.

Еще в 1825 г., определяя Крылова как «представителя духа» русского народа, Пушкин «отличительными чертами в наших нравах» признал «какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выразаться» (XI,

34). Неслучайно именно эти признаки выдвигаются как основные в повадках и речах Пугачева, начиная от первой встречи с ним Гринева во время бурана до вдохновенной передачи Пугачевым сказки об орле и вороне в одиннадцатой главе романа.

«Сметливость его и тонкость чутья меня поразили», — рассказывает Гринева о первой встрече своей с Пугачевым (VIII, ч. 1, 288). — Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась просесть; живые большие глаза его так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское» (VIII, ч. 1, 290). В главе восьмой эта характеристика дополнялась «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец, он засмеялся, и с такой непритворною веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему» (VIII, ч. 1, 331).

Вот когда Пушкину пригодились его знание документальных описаний «примет» Пугачева, вот когда возвратился он к показаниям Пустовалова и Полуворотова, едва затронутым им на страницах «Истории Пугачева». В главе «Вожатый» Пушкин заставляет Гринева быть свидетелем замечательного разговора Пугачева с хозяином умета. Будущий самозванец дает понять старому казаку, что яицкому войску, утесненному после восстания 1772 г., не следует унывать, что оно еще даст себя знать правительству.

«Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком, да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши? — отвечал хозяин, продолжая инскапательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадьа не велит: поп в гостях, черти на погосте.

— Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит» (VIII, ч. 1, 290).

Этот метод речевой характеристики Пугачева выдерживается Пушкиным до конца романа, поскольку именно

пословицы, сказки, шутки и прибаутки, лукавые намеки и иносказания окрашивают юмор Пугачева в национальные русские тона. Характеризуя использование Пушкиным в одной из последних глав «Истории Пугачева» народной песни о Пугачеве и графе Панине, мы определили самый ранний опыт демонстрации поэтом «веселого лукавства ума» Пугачева и его «живописного способа выразиться». Сцена в уме, с Хлопушей и Белобородовым, беседа с Гриневым в кибитке во время поездки в Белогорскую крепость являлись иллюстрацией тех же приемов письма. Все действия Пугачева одухотворены его волей к победе, сознанием правоты его исторической миссии. Он уверенно ждет своего часа. Как свидетельствует уже сцена в уме, он терпелив, но знает и то, что всякому терпению есть предел.

Пушкин, оттеняя в Пугачеве и эту черту характера русского человека, хорошо помнил, видимо, наблюдения Радищева: «Я заметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив: и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать»¹¹².

ХII. „СЧЕТ САВЕЛЬИЧА“

Предметные уроки крестьянского восстания 1773—1774 гг., его противоречия и их социально-политический смысл волновали Пушкина в «Капитанской дочке» не в меньшей степени, чем в «Истории Пугачева».

Естественно поэтому, что роман, вытесненный на некоторое время из творческого календаря Пушкина научно-исследовательской работой, вновь оказывается в центре его внимания тотчас же после опубликования «Истории Пугачева». Материалы, собранные и критически освещенные Пушкиным в его исторической монографии, политически и литературно были так значимы и богаты, так свежи, так многообразны, что поэту, казалось бы, не было нужды в процессе его работы над романом выходить из круга первоисточников его книги, утруждать себя новыми историческими разысканиями.

Однако, чем внимательнее вчитываемся мы в материалы литературного архива Пушкина, тем явственнее определяется изначальный параллелизм его не только творческих,

но и собирательских интересов. Из многих тысяч документов, просмотренных Пушкиным в архивах Петербурга, Москвы, Казани, Оренбурга и Нижнего-Новгорода, он выбирает для копировки лишь наиболее значительные, наиболее колоритные, наиболее характерные, причем этот отбор с самого начала производится не только под специальным углом зрения историка и источниковеда, но с учетом запросов исторического романиста. Так, явно для будущего романа, а не для «Истории Пугачева», Пушкин копирует в 1833 г. такой замечательный бытовой документ, как «Реестр» убытков, понесенных неким надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами пригорода Заинска. Приводим этот неизвестный документ полностью (с сохранением основных особенностей орфографии подлинника)¹¹³:

РЕЕСТР, ЧТО УКРАДЕНО У НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА БУТКЕВИЧА ПРИ ХУТОРЕ В ПРИГОРОДЕ ЗАИНСКЕ.

Кобыл больших 65 ценою на 780 рублей.

Трех и двух лет 21 ценою на 5 р.

Коров больших нетельных 58 — на 230 рубл<ей>.

Три седла черкасских с кожаными подушками, с кометами, войлоками и подметками и 3 узды ямских и сыромятных ремней с медными пряжками — на 8 рублей.

Котлов медных 3, в 4 ч., 1 ведро весом 1 п. на 10 р. 70 к.

Гусей 20, 4 уток, 45 кур русских на 8 р. на 80 к.

Людской одежды пять шуб бараньих на 7 р. на 50.

Епанечь валеных на 3 р.

3 пары суконных онучь на 1 р.

5 п. шерстяных чулок на 60 коп.

Три шапки в 60 коп.

Холстов на 3 р. посконных.

Сена поставленного 38 стогов на 76 рубл.

Овса 30 четв. на 25 р.

Два человека дворовых.

Спасителей образ в ризе и серебряном окладе.

Казанская богоматерь в окладе с жемчугом на 330 рублей.

Экипажу: сундук кованный железом с внутренним замком на 5 рублей; в нем: три п. кафтанов немецких

1) люстриновая, вторая кофейная — на 25 р.

Епанча суконная, алая, обложенная золотым прорезным позументом 65 р.

Два тулупа, один мерлушечный, второй из беличьего меху 60 руб.

Два халата, один хивинский, другой полосатый на 20 рубл.

Женского платья. Два лаброна, один люстриновый, другой гризетовый на 100 р.

Три кофты с юбками тафтяных на 90 р.

Салоп штофный на лисьем меху в 50 р.

Мантилья черная на сибирских белках 26 р.

Платков штофных три, тальянских пять на етс, ситцевых на 40 р.

Косынок шелковых на 10 р.

Черевиков, шитых золотом 9 руб.

Башмаков шит. зол. 2 п. на 4 руб.

12 рубах мужских полотняных с манжетами на 60 р.

Скатерти и салфетки на 45 р.

Одеяло из лисьих хвостов, другое из барсучьих 26 руб.

Одеяло ситцевое, другое на хлопчатой бумаге 19 руб. етс.

О том, что реестр этот, обнажавший с большой яркостью своекорыстие, мелочность и жадность правящего класса, предназначался уже в момент его копировки для будущего романа, свидетельствуют и некоторые формальные признаки копии, снятой Пушкиным собственноручно, но без обычной для него археографической тщательности. Так, переписывая документ, Пушкин не обозначил ни места его хранения, ни даты, а самый текст подлинника воспроизвел с сокращениями, о которых говорят две его же отметки «етс» в самой концовке реестра и в перечне «платков штофных» и «тальянских». Копия писана была чернилами, на двух сторонах полулиста бумаги обычного канцелярского формата (размер 220×342 мм) фабрики Гончаровых. Водяной знак — «1829». В момент смерти поэта «реестр» находился в его личном архиве — автограф хранит след той самой жандармской нумерации (цифра «11» красными чернилами в середине листа), которую прошли все бумаги, опечатанные по распоряжению Николая I в кабинете Пушкина 29 января 1837 г.

Историкам Пугачевского восстания хорошо известен «пригород Заинск», откуда вышел заинтересовавший Пушкина «реестр». Заинск — это старинный укрепленный пункт, входивший в Закамскую линию пограничных постов Московского государства. В конце 1773 г. Пугачев без боя взял Заинск, где встречен был «с честью» не только народом, но и всем городским начальством, с комендантом во главе.

В «Истории Пугачева» Пушкин очень точно передал содержание официальных документов как об этом эпизоде, так и о позднейших действиях полковника Бибикова, который на пути из Бугульмы в Мензелинск вырвал буйный пригород «из злодейских рук». Боям под Заинском уделено было внимание и в одном из приложений к «Истории Пугачева» — в «Экстракте из журнала генерал-майора и кавалера кн. П. М. Голицына». Ни в печатном тексте «Истории Пугачева», ни в приложениях и дополнениях к ней не нашли мы имени «надворного советника Буткевича». Но другие члены, видимо, этой же большой помещичьей семьи неоднократно упоминаются в материалах, собранных Пушкиным. Так, один из Буткевичей (секунд-майор, «воеводский товарищ») вместе с женою был убит пугачевцами в г. Петровске, а другой — отставной прапорщик, перешедший на сторону самозванца, — претендовал на пост заинского коменданта.

«Реестр», представленный начальству третьим из этих Буткевичей, находился, возможно, в числе приложений к тому самому рапорту Бибикова о взятии Заинска, точная копия с которого сохранилась в бумагах Пушкина и частично была использована в «Истории Пугачева».

Рапорт Бибикова учтен был в «Истории Пугачева», реестр Буткевича Пушкин оставил для «Капитанской дочки»¹¹⁴.

Счет Буткевича исключительно выразителен. Не только духовный облик, но и вся социально-политическая сущность «дикого барства» получала выражение в этой деловой бухгалтерской справке Буткевича о его убийствах от революции. Несмотря на то, что «состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно» (мы цитируем «Капитанскую дочку»), несмотря на то, что кровавая расправа карательных отрядов с «виноватыми и безвинными» была еще единственной формой решения гражданских и уголовных дел, господа Буткевичи спешили по-своему использо-

вать предоставленную им историей передышку. Без всяких претензий на юмор счет Буткевича механически регистрировал все, что вспоминалось его составителю в процессе писания — «кобыл больших 65» и «два человека дворовых», «спасителей образ в ризе» и «сена 38 стогов», «казанскую богоматерь» и «три пары суконных онуч».

Читатель, вероятно, уже вспомнил знаменитую сцену девятой главы «Капитанской дочки», в которой Савельич с таким простодушным упорством домогается возмещения убытков, понесенных его барином в дни взятия Белогорской крепости. У самой виселицы, на которой еще качаются тела капитана Миронова и «кривого поручика», официальных представителей помещичьего государства, крепостной дядька Гринева хлопочет о том, чтобы вождь крестьянской революции немедленно обратил внимание на представленный ему «реестр барскому добру, раскраденному злодеями»:

«Молодой малый в капральском мундире проворно пробежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

«Штаны белые суконные, на пять рублей.

«Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

«Погребец с чайною посудю, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крикнул и стал объяснять. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич <...> — Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

«Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще? — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами» (VIII, ч. 1, 335).

Знакомство с «реестром» Буткевича подсказало Пушкину одну из самых знаменательных сцен «Капитанской дочки». Изучение этого документа позволяет сейчас и нам значительно расширить и углубить понимание социально-политической функции счета Савельича, как художественного документа, которым оперирует в романе старый слуга только потому, что ни обычная цензура, ни тем более цензура Бенкендорфа и Николая I не могли бы допустить использование «реестра» в его прямой исторической значимости.

Но и при переводе этого документа из поля зрения Пушкина-историка в рамки «семейной» хроники Гриневых, поэт устами разгневанного Пугачева, выхватывающего из рук Савельича его нелепый «реестр», определял отношение вождя крестьянского восстания, конечно, не к Савельичу, а к его господам. И не только к Гриневым, но и к Буткевичам.

«Глупый старик! их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками...» (VIII, ч. 1, 336).

Формы использования в «Капитанской дочке» материалов документа, скопированного Пушкиным, были многообразны. Реестр Буткевича, предопределив сценарий и идейную нагрузку девятой главы, оказался учтенным и в самой завязке романа (глава вторая). «Два тулупа, один мерлуцатой, второй из беличьего меху», отмеченные в документе, подсказывают ход и к «тулупчику заячьему», который так облегчил Пушкину долго не дававшуюся ему, судя по начальным планам «Капитанской дочки», мотивировку отношений его героев.

Дословно или с самыми незначительными уточнениями

переключено было из реестра Буткевича в реестр Савельича все то, что могло найти себе место в гардеробе молодого офицера. К этому добавить пришлось лишь кое-что из офицерского обмундирования («мундир из тонкого зеленого сукна», «штаны белые суконные») и из походного инвентаря («погребец с чайною посудой»). Характерная деталь: Пушкин, используя номенклатуру Буткевича, значительно снижает все его расценки, как бы противопоставляя этим преувеличенные претензии жадного заинского помещика бескорыстную крепостного слуги.

Гоголь, характеризуя в 1846 г. «Капитанскую дочку» как «решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде», утверждал: «Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкою, бесталковщина времени и простое величие простых людей, — все не только самая природа, но и еще как бы лучше ее»¹¹⁵.

Такие человеческие документы крестьянской войны 1773—1774 гг., как «реестр» Буткевича, художественно преображенный в «Капитанской дочке», с исключительною выразительностью конкретизировали в живой ткани романа не только то, что хотел видеть в нем Гоголь. Действительность «Капитанской дочки» была, конечно, не просто художественной фикцией, успешно якобы противопоставленной «самой природе»¹¹⁶. Действительность «Капитанской дочки», отраженная гениальным поэтом и историком, была совершенно конкретной крепостнической действительностью, понимаемой, однако, как преходящая форма процесса исторического развития, со всеми его уродствами и противоречиями¹¹⁷.

Роман Пушкина не уводил читателей от «искусственности» и «карикатурности» этой действительности, а звал на борьбу за ее скорейшее переустройство.

ПРИМЕЧАНИЯ

Новые материалы и некоторые результаты их анализа и обобщения, положенные в основу настоящего исследования, впервые были частично опубликованы нами в статьях «Пушкин в работе над «Историей Пугачева»» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934,

стр. 443—466); «Запись рассказов И. А. Крылова о пугачевщине» («Временник Пушкинской комиссии АН СССР», т. 1, 1936, стр. 26—29); «Пушкин в работе над «Капитанской дочкой» («Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 222—242); «Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева» («Научный ежегодник Саратовского Гос. университета за 1954 год», 1955, стр. 149—154). Краткий свод этих данных вошел в комментарий к «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» в «Полн. собр. соч. Пушкина в шести томах» под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, т. IV, М.—Л., «Academia», 1936, стр. 741—758 и 797—799. Все ссылки на академическое издание Пушкина в тексте настоящего исследования даются нами сокращенно римские цифры обозначают том, арабские — страницы.

¹ Статья Я. К. Грота «Приготовительные занятия Пушкина для исторических трудов» впервые была опубликована в двенадцатой книжке «Русского вестника» 1862 г., вошла в два издания сборника статей Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (1887 и 1899 гг.) и в последний раз перепечатана в «Трудах Я. К. Грота», т. III, СПб., 1901 стр. 119.

² «По недостатку ли полученных материалов или за недосугом, — писал П. А. Ефремов, — Пушкин так и не занялся историею Суворова, а разработал только один из ее эпизодов: Пугачевский бунт. Этим <...> поясняется и начало предисловия: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного», т. е. истории Суворова» («Сочинения А. С. Пушкина», т. VI, СПб., 1880, стр. 477—478).

³ «Среди архивных занятий по истории Петра Великого, начатых в 1832 г. у Пушкина возникла мысль о другом историческом труде — истории Суворова, из которой написал он лишь один эпизод о Пугачевском бунте» («Сочин. А. С. Пушкина Изд. Льва Поливанова для семьи и школы», т. V, 2-е изд., М., 1898, стр. 265).

⁴ Не перечисляя всех вариаций этого ложного положения в общих и специальных работах о Пушкине, отметим для примера лишь статью проф. Е. А. Боброва «Пушкин в Казани»: «В начале 1833 г. А. С. Пушкин еще имел намерение писать биографию генералиссимуса князя А. В. Суворова, куда, в качестве одной главы, должно было войти изображение его участия в усмирении Пугачевского бунта» («Пушкин и его современники», вып. III, СПб., 1905, стр. 24).

⁵ «Сочинения Пушкина», изд. Академии Наук, т. XI, П., 1914, стр. 20—24 второй пагинации. Характерно, что даже В. Я. Брюсов, очень резко выступивший в печати против комментариев Н. Н. Фирсова к «Истории Пугачевского бунта», не решился оспаривать рассказанной в академическом издании истории работы Пушкина над материалами о пугачевщине. В этом отношении он, как и Н. Н. Фирсов, оказался в плену традиционных представлений о связи «Истории Пугачева» с задуманной якобы Пушкиным биографией А. В. Суворова. См. В. Брюсов, Пушкин перед судом ученого историка («Русская мысль», 1916, кн. 2, стр. 110—123; перепечатано в сборнике статей В. Я. Брюсова «Мой Пушкин», М., 1929). Ни в одной из специальных работ об «Истории Пугачева», вышедших в свет после нашей статьи «Пушкин в работе над «Историей Пугачева»» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 443—466), легенда о связи этого труда с «Историей Суворова» уже не повторялась. См. статьи А. Грушккина «Пушкин 30-х годов в борьбе с официозной историографией»

(«Временник Пушкинской Комиссии», т. IV—V, 1939, стр. 212—256); А. Чхеидзе, «К вопросу об источниках «Истории Пугачева» Пушкина» («Труды Тбилисского гос. учительского института им. А. С. Пушкина», т. II, 1942, стр. 273—307); ее же «История Пугачева» А. С. Пушкина. Автореферат диссертационной работы, Тбилиси, 1950; Г. П. Блок, «Пушкин в работе над историческими источниками», М.—Л., 1949.

⁶ Пушкин, Полн. собр. соч., Академия Наук СССР, т. IX, ч. 1, 1938, стр. 1. Опечатка, вкрашаясь в текст предисловия Пушкина к «Истории Пугачева» в «Полном собрании сочинений Пушкина», т. V, кн. 1, М.—Л., 1932 («Часть труда, мною составленного» вместо «оставленного») послужила основанием для внесения редакцией «Литературного наследства» в нашу работу при ее первой публикации нескольких строк, искаживших правильное понимание этого места первоисточника.

⁷ В подлиннике письма Пушкина явная описка («7 февр.» вместо 9 февраля), так как поэт отвечал на запрос канцелярии военного министерства от 8 февраля 1833 г. (XV, 46).

⁸ Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском архиве», 1881, кн. 1, стр. 448. См. фототипическое воспроизведение этого плана в изд. «Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Тетрадь № 2374 Публичной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина», М., 1939, л. 9.

Из числа документальных данных, проясняющих хронологию повести о Шванвиче, должно быть исключено «свидетельство» С. Л. Пушкина в его письме к О. С. Павлищевой от 16 марта 1833 г. из Москвы, в котором отмечалось, что сын его «кончил прелестный свой роман, над которым провозился довольно долго, и начинает другой; сюжетом выбрал происшествие времен Екатерины Великой. Этому последнему труду, а также и другим, поэтическим, посвящает все время» (Л. Павлищев, Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине, М., 1890, стр. 310—311). Как свидетельствует наше обращение к автографу этого письма (архив О. С. Павлищевой в Пушкинском Доме), отмеченные выше строки в нем отсутствуют, являясь продуктом фантазии Л. Н. Павлищева, известного и другими фальшивками в этом же роде.

⁹ Биографические данные об отце и сыне Шванвичах (родоначальником русской ветви этой фамилии был Мартин Шванвич, почт-директор города Торна, переселившийся в Россию в 1718 г. и умерший в 1740 г. в должности учителя латинского и немецкого языков академической гимназии) с наибольшей точностью и полностью собраны в работе Г. П. Блока «Путь в Берду» («Звезда», 1940, № 10, стр. 208—217; № 11, стр. 139—149). В этой же работе дан критический комментарий к заметкам Пушкина о Шванвичах. Как свидетельствуют архивные материалы, отец пугачевца, Александр Мартынович Шванвич (он родился около 1727 г., умер в 1792 г.), в 1760 году «за учиненные неурядочные против чести офицерской поступки (относившиеся, вероятно, к трактирной ссоре с А. Г. Орловым) был «выключен из лейб-кампании» и тем же чином определен в Оренбургский крепостной гарнизон. Впоследствии Шванвич был возвращен в Петербург, служил в Голштинских полках и пользовался расположением Петра III. При Екатерине попал в опалу, вышел в отставку в чине секунд-майора, определился на гражданскую службу, но в 1776 г. вернулся в армию и до самой смерти своей был ко-

мандиром 3-го Кронштадтского батальона. Его старший сын, Николай Александрович, брат пугачевца, упоминаемый в записи Пушкина, умер в 1830 г.

В пору работы Пушкина над повестью о Шванвиче один из племянников пугачевца, Дмитрий Николаевич, был полковником лейб-гвардии Финляндского полка, а другой — отставным полковником лейб-гвардии Измайловского полка (ЦГИАЛ, архив Правительствующего Сената, дело Временного присутствия Герольдии, 1835, № 137, «дворянском происхождении рода Шванвичей»). Сентанция от 10 января 1775 г. о Михайле Шванвиче вошла в «Полн. собр. законов Российской империи», т. XX, стр. 9, № 14233.

¹⁰ Пушкин, Полное собр. соч., т. IX, ч. 2, 1940, стр. 498. Впервые опубликовано с некоторыми неточностями Е. И. Якушкиным в «Библиографических записках» 1859 г., № 6, стр. 180—181. Генерал Н. С. Свечин, со слов которого сделана была эта запись Пушкина (не раньше лета 1833 г.), женат был на С. П. Соймоновой, двоюродной тетке С. А. Соболевского. Последний еще в письме от 19 декабря 1818 г. предлагал Свечину подписаться на несостоявшееся издание стихотворений Пушкина («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 727). Инициалы Н. С. Свечина впервые правильно расшифрованы в указателе к «Полн. собр. соч. Пушкина», т. IX, ч. 2, 1940, стр. 912.

¹¹ Заметки об отце и сыне Шванвичах, цитируемые нами по черновому автографу Пушкинского Дома (собрание Л. Н. Майкова), были сильно сокращены и смягчены Пушкиным в той редакции «Замечаний о бунте», которую он представил царю при письме на имя графа А. Х. Бенкендорфа от 26 января 1834 г. (IX, ч. 1, 374; XVI, 7—8). Беловая редакция «Замечаний о бунте» была впервые опубликована в журнале «Заря» 1870 г., кн. XII (декабрь), стр. 418—422, по копии, сохранившейся в бумагах И. П. Шульгина. Нынешнее местонахождение белого оригинала записки Пушкина неизвестно, но в статье Д. А. Корсакова «Из воспоминаний о Л. Н. Майкове» сохранились строки, исключающие всякие сомнения в авторитетности копии И. П. Шульгина: «Профессор новой истории в Петербургском университете И. П. Шульгин преподавал в 40-х годах историю и статистику великим князьям Константину Николаевичу, Николаю Николаевичу и Михаилу Николаевичу. Для этих-то уроков профессор Шульгин получил доступ в государственный архив и извлек оттуда весьма много очень интересного и неизвестного материала по русской истории XVIII и XIX вв. Бумаги Шульгина перешли к родственнику Майкова, В. В. Каширеву, издававшему журнал «Заря» («Исторический вестник», 1900, № 8, стр. 468).

¹² «Известие о самозванце Пугачеве», составленное священником Полянским, извлечено было Пушкиным из дел архива Главного штаба, доставленных ему в начале 1833 г. по распоряжению А. И. Чернышева. См. выше, стр. 28. Ссылки на эту же рукопись см. в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. II, СПб., 1884, стр. 38.

¹³ Сводку основных данных о работе Пушкина над романом «Дубровский» см. в статьях Д. П. Якубовича «Незавершенный роман Пушкина» (Сб. «Пушкин. 1833 год», М., 1933, стр. 33—42) и И. Н. Кубикова «Общественный смысл повести «Дубровский» (Пушкинская Комиссия Общества любителей Российской словесности. Пушкин. Сборник второй. Редакция Н. К. Пиксанова. М.—Л.,

1930, стр. 79—109). О романе «Дубровский» и традициях западно-европейского разбойничьего романа см. работы А. И. Яц и Мирского о «Дубровском» («Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Пушкин», т. IV, 1910, стр. 271—276) и Б. В. Томашевского «Пушкин и романы французских романтиков» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 954—957). Много ценных соображений о месте «Дубровского» в творческой эволюции Пушкина рассеяно в «Заметках о прозе Пушкина» В. Б. Шкловского (М., 1937, стр. 82—87 и 91—92), в статье П. Калецкого «От «Дубровского» к «Капитанской дочке» («Литературный современник», 1937, № 1, стр. 148—168) и в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля», (М., 1957, стр. 370—372 и 375—376). Статья Т. П. Соболевой «Крестьянство и крестьянский бунт в повести А. С. Пушкина «Дубровский» («Ученые записки Московского Гос. Пед. Института им. В. И. Ленина», т. СХV, 1957, стр. 45—72) не выходит за пределы компиляции.

¹⁴ План этот, печатаемый нами далее по автографу Пушкинского Дома (собрание Я. К. Грота), впервые был опубликован в газете «Русь», 1885, № 22, стр. 3; точнее, в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 г.», П., 1922, стр. 3—6. О Перфильеве см. данные «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 28, 69, 79—80), а также выписку о нем из бумаг Д. Н. Бантыша-Каменского (см. далее, стр. 65). О распоряжении Пушкина, судя по примечаниям его к восьмой главе «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 116), были, кроме рукописи записок И. И. Дмитриева и справки о Перфильеве, сделанной Д. Н. Бантышом-Каменским, неизданные материалы о Перфильеве, сохранившиеся в бумагах одного из ликвидаторов восстания, капитана гвардии А. П. Галахова. Эти документы, полученные Пушкиным от внука этого капитана, ротмистра лейб-гвардии конного полка А. П. Галахова (1802—1863), воспитанника лицейского благородного пансиона, невольно ввели Пушкина в заблуждение, так как он, подобно некоторым деятелям екатерининского государственного аппарата, поверил в возможность предательства Перфильева и дал об этом неверную информацию в «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 69). Не лишено вероятия, что фальшивка Долголова заставила Пушкина отказаться от выдвижения Перфильева в герои повести, задуманной им в начале 1833 г. Документы, устанавливающие непричастность Перфильева к афере Долголова, см. в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, 1884, гл. 4 и 9.

В рукописной редакции первой главы «Истории Пугачева», хронологически близкой первому наброску плана повести о Шванвиче, рассказ о восстании в Яицком городке 13 января 1771 г. заканчивался сентенцией: «Мятежники торжествовали. Казак Перфильев отправился в Петербург, дабы от их имени объяснить и оправдать кровавое происшествие» (IX, ч. 1, 413). В печатной редакции «Истории Пугачева» имя Перфильева в этом контексте отсутствовало (IX, ч. 1, 11).

¹⁵ План этот печатается по автографу Пушкинского Дома (собрание Л. Н. Майкова). Впервые опубликован в брошюре И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина», М., 1926, стр. 42—43. Этот вариант плана набросан на листе, оторванном от полученного Пушкиным письма, со следами почтового штемпеля: «Москва, сентября 11». На основании этой даты Б. В. Томашевский отнес новый вариант плана повести о Шванвиче к октябрю-ноябрю 1833 г. («Полн. собр. соч. А. С. Пушкина в десяти томах», т. VI, изд. 2-е, 1957, стр. 781—782). Мы не можем, однако, принять этого «уточнения» хронологии замысла

Пушкина, так как письмо, на обрывке которого набросан был третий вариант повести о Шванвиче, могло относиться к 11 сентября любого из годов, предшествовавших работе Пушкина над реализацией этого замысла.

¹⁶ В. Б. Шкловский, развивая наши соображения о дате отставки и отъезда в деревню А. П. Гринева («1762 год»), обратил внимание на то, что поскольку действие повести Пушкина относится к 1773 г., Петру Гриневу должно было бы быть в это время не 17, а не более 10 лет (В. Шкловский, Заметки о прозе Пушкина, М., 1937, стр. 84—86). И действительно, изъятию из печатного текста повести ссылки на 1762 г. предшествовала цифровая выкладка в одной из тетрадей Пушкина, определяющая год рождения Шванвича («1755»), на основании его возраста в 1773 г. («Рукописи А. С. Пушкина». Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Комментарии под ред. С. М. Бонди. Москва, 1939, стр. 18 и 30).

¹⁷ Специальная литература о «Капитанской дочке» и предшествующих ей планах повести из времен восстания Пугачева не очень велика. Ее достижения за весь досоветский период пушкиноведения обобщены в работах Н. И. Чернышева «Капитанская дочка» Пушкина. Историко-критический этюд, М., 1897, и М. Л. Гофмана «Капитанская дочка» («Пушкин», под ред. С. А. Венгерова, т. IV, изд. Брокгауз—Ефрон, СПб., 1910, стр. 353—378). Основные вопросы, связанные с историей создания «Капитанской дочки», были вновь поставлены и частично разрешены в наших исследованиях повести, опубликованных в 1934—1954 гг. Первым итогом этих разрываний явились комментарии к «Капитанской дочке» в «Полном собрании сочинений А. С. Пушкина в шести томах», изд. «Academia», т. IV, 1936, стр. 746—759. Наиболее значительными из позднейших работ о «Капитанской дочке» являются статьи В. Александрова «Пугачев. Народность и реализм Пушкина» («Литературный критик», 1937, № 1, стр. 17—45); Н. Е. Прянишникова «К столетию «Капитанской дочки» («Литературная учеба», 1937, № 1, стр. 94—113); Д. П. Якубовича «Капитанская дочка» и романы Вальтер Скотта» («Временник Пушкинской комиссии», т. IV—V, 1939, стр. 165—197); брошюра Е. Н. Купряновой «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, Л., 1947; очерк С. М. Петрова «Исторический роман Пушкина» («Историко-литературный сборник». Под ред. С. П. Бычкова, Ф. М. Головенченко, С. М. Петрова, М., 1947, стр. 146—172). О страницах, посвященных «Капитанской дочке» в книгах В. Б. Шкловского «Заметки о прозе Пушкина» (М., 1937) и Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957), см. далее стр. 110—111 и 131.

¹⁸ Копии документов о беглом сержанте Илье Аристове, изъятые из архива Пушкина П. В. Анненковым, ныне хранятся в Пушкинском Доме АН СССР (IX, ч. 2, 704—709).

¹⁹ Показания И. С. Аристова от 25 июля 1774 г. опубликованы с незначительными сокращениями, но с концовкой, отсутствующей в копии Пушкина (первая редакция оговора архиепископа Вениамина) в сборнике материалов «Пугачевщина», т. II, М.—Л., 1929, стр. 305. Впервые эти показания использованы были в печати в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, СПб., 1884, стр. 329—352.

²⁰ Показания И. С. Аристова от 4 августа 1774 г. до сих пор из-

вестны были только по глухой ссылке на них в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, стр. 331.

²¹ Перевод письма Пушкина к П. А. Осипову от 29 июня 1831 г.: «Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты расшиврепешей чернью. Государь явился среди бунтовщиков <...> Нельзя отказать ему ни в мужестве, ни в умении говорить; на этот раз возмущение было подавлено, но через некоторое время беспорядки возобновились. Возможно, что будут вынуждены прибегнуть к картечи» (XIV, 430). Ср. дневниковые записи Пушкина от 26 и 29 июля 1831 г. (XII, 199—200).

²² «Крестьянское движение 1827—1861 гг.», вып. 1, М., 1931, стр. 10. Основной документальный материал о восстании 1831 г. опубликован в книге А. Слезкинского «Бунт военных поселан в холеру 1831 г. (По неизданным подтверждениям)». Новгород, 1894. См. также сборник «Бунт военных поселан в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев», СПб., 1870, и документальные данные работы П. Евстафиева «Восстание военных поселан Новгородской губернии в 1831 г.». Издание Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, М., 1934.

²³ Н. К. Шильдер, Император Николай I, т. II, 1903, стр. 613. Обращение Николая I к депутатам Новгородского дворянства мы цитируем по публикации А. Долгорукова «Новгородские дворяне и военные поселане» («Русская Старина», 1873, № 9, стр. 411—414).

²⁴ О деятельности Н. М. Коншина в Новгородской следственной комиссии см. материалы А. Слезкинского «Бунт военных поселан в холеру 1831 г.», Новгород, 1894, стр. 212—213. Ср. А. И. Кирпичников «Очерки по истории новой русской литературы», т. II, М., 1903, стр. 106.

²⁵ Впервые опубликовано нами в «Литературном наследстве», т. 16—18, 1934, стр. 450. См. варианты рукописи «Барышня-крестьянка» в академическом издании полн. собр. соч. Пушкина, т. VIII, ч. 2, 1940, стр. 672.

²⁶ Дата окончания работы Пушкина над первой редакцией «Истории Пугачева» отмечена была нами впервые в рецензии на однотомник «Сочинения А. Пушкина. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского», Л., 1935 («Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», кн. 2, М.—Л., 1936, стр. 412). Б. В. Томашевский, утверждая, что «шесть глав «Истории Пугачева» были написаны 22 мая (помета в рукописи)», повторял ошибочную справку академического комментатора «Истории пугачевского бунта» Н. Н. Фирсова, удостоверившего, что шестая глава этой работы самим автором датирована в рукописи 22 мая 1833 г. («Соч. Пушкина», т. XI, 1914, примеч., стр. 41). Однако в результате специального исследования рукописей «Истории Пугачева» нами было установлено, что дата «22 мая 1833» относилась не к переделанной шестой главе, а к черновому наброску заключительных строк главы восьмой, — именно к описанию отправки пленного Пугачева в Москву и его казни. Эта черновая запись занимает в автографе частичку двойного листа плотной белой бумаги, который несколько месяцев спустя был использован Пушкиным для обложки шестой главы, что и ввело в заблуждение как Н. Н. Фирсова, так и всех позднейших комментаторов «Истории Пугачева». Устанавливая наличие в портфеле Пушкина уже 22

мая 1833 г. не только шестой главы, но и черновой редакции всей «Истории Пугачева», мы с полным вниманием должны отнестись к давно известному, но считавшемуся не заслуживающим доверия сообщению Гоголя в письме от 8 мая 1833 г. о том, что Пушкин «уже почти кончил «Историю Пугачева»» («Письма Н. В. Гоголя». Редакция В. И. Шенрока, т. 1, стр. 250). Эта начальная редакция «Истории Пугачева», конечно, самым существенным образом в течение всего 1833 г. и начала 1834 г. дополнялась, исправлялась и перестраивалась на основании получаемых Пушкиным новых документальных и мемуарных данных, но как некая цельная, хотя еще и сугубо поедванительная схема, охватывающая всю историю восстания 1773—1774 гг., она уже существовала в мае 1833 г.

²⁷ Сцены, относящиеся к суду и расправе Пугачева в крепости Ильинской (обстоятельства казни капитана Камешкова и прапорщика Воронова, помилование капитана Башарина и т. п.), исключительно близки в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» подробнейшим показанием об этом эпизоде фурьера Иванова, допрошенного 3 декабря 1773 г. Эти же показания, копия которых сохранилась в бумагах Пушкина (IX, ч. 2, 1940, стр. 698—701), легли в основание и данных о взятии крепости Ильинской и судьбе ее защитников в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. II, СПб., 1884.

²⁸ Это же произвольное решение вопроса о хронологии дошедших до нас плачов повести о Шванвиче повтोरено было в «Полн. собр. соч. А. С. Пушкина в десяти томах», т. VI, 1949, стр. 761—762. Во втором издании десятитомника (т. IV вышел в свет в 1957 г.) Б. В. Томашевский отказался от этого предположения, слишком поспешно, к сожалению, усвоенного в работе Н. И. Фокина «К истории создания «Капитанской дочки»» («Учен. Зап. Уральского Педагогического института», 1957, стр. 104—124). Никакой критики не выдерживают и предположения Н. И. Фокина о возможности датировки первых записей Пушкина о Шванвиче 1830—1832 гг.

²⁹ Печатается по автографу Пушкинского Дома, тетрадь № 2374 (по старой нумерации Румянцевского музея), л. 4, об. Впервые опубликовано П. И. Бартевым в «Русском архиве», 1881, кн. 1, стр. 448, без вставной строки, представлявшей собою приписку сверху листа. При перепечатке этого плана в поименных к второму изданию десятитомного «Полн. собр. соч. А. С. Пушкина» Б. В. Томашевский предложил новое чтение строки «Башаон отцом своим привезен в Петербург», поместив после фамилии «Башарин» дату «в 1772 г.» (т. VI, 1957, стр. 783). Это уточнение текста представляется сомнительным.

³⁰ Печатается по автографу Пушкинского Дома, тетрадь № 2375 (по старой нумерации), л. 32. Листок с этим планом выеззан был Пушкиным из предыдущей тетради и шит в тетрадь № 2375 после его смерти. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской старине» 1884, № 9, стр. 653; чтение записи уточнено Д. П. Якубовичем в сб. «Работа классиков над прозой», Л., 1929, стр. 11. Тонкий анализ строк об «изувеченном башкирце» в этом варианте плана, перешедших в окончательную редакцию романа, см. в «Заметках о прозе Пушкина» В. Б. Шкловского, М., 1937, стр. 107—111. Как правильно замечает исследователь, Пушкин, «делая исполнителем казни коменданта питанного им башкирца, изменяет значение казни, превращая ее в возмездие».

³¹ Печатается по автографу Пушкинского Дома (писано на листке, занятом стихами А. Боде. Дата стихов: 28 октября 1834 г.). Впервые

опубликовано (вместе с факсимиле) М. А. Цвяловским в «Трудах Публичной Библиотеки им. Ленина», т. III, М., 1934, стр. 24; более точно — Д. П. Якубовичем в «Полн. собр. соч. А. С. Пушкина», т. VIII, ч. 2, 1940, стр. 930. Следует отметить живые черты прототипов героев повести, которыми Пушкин пользуется в этом варианте плана, согласно обычной технике своего прозаического письма: «Валуев» — это Петр Александрович Валуев (1815—1890), двадцатилетний жених (а с 22 мая 1836 г. муж) дочери П. А. Вяземского, впоследствии министр. Маша Горисова — это, видимо, Марья Васильевна Борисова, молодая девушка, сирота, жившая в доме П. И. Вульфа, о которой Пушкин шутливо писал 27 октября 1828 г. из Малинников, что «намерен на днях в нее влюбиться» (XIV, 33). Характерен зачеркнутый вариант фамилии Валуева — Швабрин, впоследствии использованный в «Капитанской дочке». Знак вопроса (в скобках), заменяющий фамилию пугачевского атамана, подступающего к крепости, свидетельствует о том, что Пушкин еще не решил, сам ли Пугачев будет показан в повести или кто-либо из его соратников.

⁸² О двух Гриневых, один из которых был подпоручиком и привлекался к дознанию о сообщниках Пугачева, а другой — подполковником, принимавшим деятельное участие в борьбе с самозванцем (имя его не раз встречается в пятой главе «Истории Пугачева») см. в работе Н. И. Черныева «Капитанская дочка» Пушкина», М., 1897, стр. 64 и 200.

⁸³ «Пропущенная глава» впервые опубликована была П. И. Бартеневым в «Русском архиве», 1880, т. III, стр. 218—227, под названием «Новая глава из «Капитанской дочки». Пушкин сам назвал эту главу «пропущенной» и сделал соответствующую надпись на ее обложке после того, как все прочие части этой редакции «Капитанской дочки» были им уничтожены. В окончательной редакции романа месту «пропущенной главы» соответствовали те страницы XIII главы, которые предшествовали абзацу: «Не стану описывать нашего похода и окончания войны» (VIII, ч. 1, 364). Сводку данных об этой главе в дореволюционной критической литературе о Пушкине см. в статье А. Незеленова «Кем и почему пропущена одна глава из повести «Капитанская дочка» («Новое время» от 5 января 1881 г.; перепечатано в сб. А. И. Незеленова «Шесть статей о Пушкине», СПб., 1892, стр. 96—103), а также в очерке Н. И. Черныева «Капитанская дочка» Пушкина», М., 1897, стр. 76—78 и 202—203. С наибольшей полнотой материалы для текстологического и историко-литературного комментария к «Пропущенной главе» объединены были в наших пояснениях к заметке И. С. Тургенева, предшествовавшей переводу этой главы на французский язык в 1881 г. («Une épisode de guerre civile en Russie. Chapitre inédit de «La Fille du capitaine». См. «Соч. И. С. Тургенева», т. XII, 1933, стр. 612—615).

В самом тексте «Пропущенной главы» нами впервые установлено было правильное чтение нескольких черновых строк, в числе которых оказалось описание плывучей виселицы, на которой Гринев увидел трех казненных пугачевцев: «Один из них был старый чуваш, другой [заводский] русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву» («Полн. собр. соч. Пушкина», прилож. к журналу «Красная нива» на 1930 г., т. IV, вып. 9, стр. 579.

Ср. VIII, ч. 1, 376). Зачеркнутый эпитет «заводский» позволял уточнить символическое значение трех основных социально-политических сил восстания, объединенных казаком Пугачевым — угнетенные национальные меньшинства Поволжья, заводские рабочие Урала и крепостное крестьянство. См. об этом в статье Д. П. Якубовича «Разработка литературного наследия и биографии Пушкина после Октября. Издания текстов художественной прозы» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 1122).

⁸⁴ В процессе последней переписки романа Пушкин внес существенные исправления только в текст XI главы. В первоначальной ее редакции, как установил Б. В. Томашевский, Гринев, получив отказ генерала Рейнсдорпа помочь ему в спасении Марьи Ивановны, решает обратиться за помощью к главе другого лагеря — Пугачеву: «В этот лагерь гнали его беспомощное бессилие и трусость оренбургской администрации. Вся картина развала в правительственном лагере должна была подготовить решение Гринева уйти из него. «Страшная мысль», мелькнувшая в его голове, состояла в том, что он обратится за помощью к самому Пугачеву. После того уже, как следующая, XI, глава, была переделана, Пушкин приспособил конец X главы самым простым образом — вычеркнул слово «странная». Но какая же мысль мелькнула в голове Гринева согласно с окончательной редакцией? В начале следующей главы в окончательном тексте она дана словами самого Гринева: «Я еду в Белогорскую крепость». Но что же думал делать Гринев в этой крепости один против гарнизона, во главе которого стоял его враг Швабрин? Пушкин этого не разъясняет и не может разъяснить, так как по ходу романа Гринев попадает не в крепость, а в Берду к Пугачеву. Приступая к XI главе, Пушкин сочиняет эпиграф, приписанный им А. Сумарокову:

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.

«За чем пожаловать изволил в мой вертеп?» —

Спросил он ласково.

Этот эпиграф гармонирует именно с первоначальным замыслом: Гринев — гость Пугачева, а не пленник, и как гостя ласково принял его Пугачев» («Пушкин, Временник Пушкинской Комиссии, кн. 4—5 1939, стр. 12).

⁸⁵ 1 ноября 1836 г. Пушкин читал свой роман на вечере у П. А. Вяземского («Остафьевский архив», т. III, стр. 347), замечания которого дошли до нас в письменной форме (XVI, 183) и частично были учтены Пушкиным — например, им уничтожен был в восьмой главе анахронизм в словах Пугачева «Ступай ко мне в службу — и я пожалую тебя в князь Потемкины» (в эту пору Потемкин еще не был всесильным временщиком), а в первой главе слово «абшит» заменено на «пашпорт». Исключительно интересны впечатления и критические оценки, получившие отражение в статье Вяземского «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (1847). Эта статья, своевременно не опубликованная, напечатана была лишь после смерти автора. Вот, например, как характеризовал Вяземский особенности стиля «Истории пугачевского бунта»: «Рассказ везде живой, но обдуманый и спокойный, может быть, слишком спокойный. Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенною на себя трезвостью он будто силлся отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко накрепко запер себя в прозе, так, чтобы поэт не мог и заглянуть к нему. Впро-

чем такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозаю. Он не любил бить на эффект, *des phrases, des mots à effet*, как говорят и делают французы. Может быть, доводил это правило почти до педантизма». И далее: «В «Капитанской дочке» история пугачевского бунта или подробности о нем как-то живее, нежели в самой истории. В этой повести коротко знакомишься с положением России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Может быть, в некоторых чертах автор несколько *идеализировал* его. В его — странно сказать, а иначе сказать нельзя — простодушии, которое в нем по временам показывается, в его *искренности* относительно Гринева, пред которым он готов не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очерк Дмитрия Самозванца, начертанный тем же Пушкиным. Но если некоторые подробности встречаешь с недоумением, то основа целого и басня, на ней изложенная, верны. Скажем опять: если оно было и не так, то могло так быть. О крепости Белогорской вплоть до Царского Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина также удачно и верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна. А что за прелесть Мария! Как бы ни было, она принадлежит Русской былине о Пугачеве. Она воплотилась с нею, и отсвечивается на ней отрадным и светлым оттенком. Она другая Татьяна того же поэта» («Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», т. II, СПб., 1879, стр. 375—377).

Очень близки были этим заключениям Вяземского впечатления А. И. Тургенева, которыми он поделился в письме из Петербурга от 9 января 1871 г. к К. Я. Булгакову: «Повесть Пушкина «Капитанская дочка» так здесь прославилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский с его помощью: но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести — кои набросаны во всей повести? Главная прелесть в рассказе, а рассказ перерассказывать на другом языке — трудно» («Московский пушкинист», М., 1921, стр. 34—35).

⁴⁶ В. Б. Шкловский, опираясь на материал первого варианта нашего исследования о планах «Капитанской дочки» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 443—466) и принимая большую часть наших налюдений и выводов, резко возражал, однако, против тезиса о том, что политические установки Пушкина «в процессе всех переработок начального замысла повести о Шванвиче оставались неизменными» и что «союз Шванвича с Пугачевым мог по-разному мотивироваться, но никогда не оправдывался». В этой своей редакции наша формулировка давала, конечно, материал для возражения. Однако она вовсе не снималась той концепцией работы Пушкина над «Капитанской дочкой», которую выдвигал В. Б. Шкловский, утверждая, что «реальный ход работы Пушкина над планами «Капитанской дочки» состоит не в том, что он, не изменяя отношения к восстанию, делает своего героя-дворянина все менее ответственным за восстание, а в том, что он заменяет первый конфликт, основанный на борьбе дворянских группировок, показом самого Пугачева и конфликтом между ним и дворянином-недорослем, симпатичным, но недалеким». Как полагает исследователь, «разрешение личного конфликта Гринева» дается в последних вариантах повести «уже не в плане сговора представителей когда-то поссорившихся родов, а на обнаружении его невиновности. Личная судьба Гринева разрешена посадкой Маши в Петербург,

но здесь разрешена *фабульная*, а не сюжетная линия повести Орловы, которые в «Дубровском» назывались Троекуровыми, удалены из повести начисто. Москва и Петербург, которые занимали сравнительно много места в планах, почти не даны в повести. Пугачев сделан из эпизодического героя — главным. Его кивок головой перед самой казнью — последний сюжетный штрих произведения» (В. Шкловский, Заметки о прозе Пушкина, М., 1937, стр. 103). Одни из этих утверждений бесспорны, но не существовали и в нашей работе, другие оригинальны, но вовсе не убедительны. Более значимы, на наш взгляд, наблюдения В. Б. Шкловского в области работы Пушкина над эпиграфами «Капитанской дочки» (стр. 103—106 и 112—121), много дающие для правильного понимания образа Пугачева и отношения к нему самого Пушкина. Исключительно интересны и соображения исследователя об условности традиционных черт образа Екатерины II, восходящих в «Капитанской дочке» к ее портрету, писанному Боровиковским в 1791 г. (стр. 126—128).

³⁷ Биографические материалы о капитане А. П. Крылове см. в «Библиографических и исторических примечаниях к басням Крылова». Составил В. Кеневич, изд. 2-е, СПб., 1878, стр. 299—300. О действиях А. П. Крылова 18 сентября 1773 г. см. данные «Записки подполковника Пекарского о бунтах яицких казаков» («Москвитянин», 1841, ч. III, стр. 441—442). Список с рукописи Пекарского, сохранившийся в бумагах Пушкина (IX, ч. II, 598—616), учтен в «Истории Пугачева» (IX, ч. I, 16). В архиве Пушкина сохранились выписки и конспекты из «журналов» полковника И. Д. Симонова об осаде Яицкого городка (IX, ч. 2, 501—504). Новейшую сводку данных о капитане А. П. Крылове (к сожалению, далеко не полную) см. в статье А. В. Десницкого «Из биографических материалов о родителях И. А. Крылова» («Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена», т. 120, 1955, стр. 231—240).

³⁸ Крылов, лично знакомый с Пушкиным еще, видимо, с конца десятилетия годов (см. М. А. Цявловский, Летопись жизни и творчества Пушкина, 1951, стр. 138), вскоре после высылки поэта из Петербурга печатно выступил против критиков «Руслана и Людмилы» в своей известной эпиграмме «Напрасно говорят, что критика легка» («Сын отечества», 1820, т. 64, № 38, стр. 233). Воспоминания кн. П. А. Вяземского свидетельствуют о дружеской встрече Крылова с Пушкиным вскоре после возвращения поэта из ссылки на чтении «Бориса Годунова» в квартире А. А. Перовского («Полн. собр. соч. П. А. Вяземского», т. 1, СПб., 1878, стр. 184). С начала тридцатых годов, после переезда Пушкина на постоянное жительство в Петербург, учащаются и его встречи с Крыловым (прежде всего на вечерах у Жуковского и Оленина). 8 января 1830 г. А. А. Шаховской писал С. Т. Аксакову: «Вчера провел вечер у Жуковского с Крыловым, Пушкиным, Гнедичем» («Русский архив», 1873, № 4, стр. 472). Известен эпизод на обеде 19 февраля 1832 г. у А. Ф. Смирдина по случаю его «новоселья», когда Крылов, сразу же после окончания официальных тостов, пытался провозгласить «здоровье Пушкина», но был остановлен М. Е. Лобановым, указавшим на необходимость прежде почтить Жуковского («Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 114). Вместе с Крыловым, Гнедичем и Жуковским Пушкин поздравляет 15 апреля 1832 г. для известной картины Г. Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле» («Нива», 1914, № 25, стр. 494).

О встречах Пушкина с Крыловым 4 и 6 февраля 1833 г. см. выше стр. 38). 14 июля 1833 г. Пушкин встретился с Крыловым на чествовании И. И. Дмитриева (см. об этом выше, стр. 54). Со слов Крылова Пушкин записывает 22 декабря 1834 г. в своем дневнике не сколько за авних сентенций по поводу запрещения стихов В. Гюго «Красавице» в переводе Деларю (XII, 335). Несколько позже Пушкин вносит характернейший анекдот о Крылове в «Table-talk»: «У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина» и пр. (XII, 170). Около середины июня 1836 г. Пушкин встретился с Крыловым на вечере у П. А. Вяземского по случаю приезда в Петербург французского литератора Лева-Веймара («Литературное наследие», т. 16—18, 1934, стр. 808). Наконец, воспоминания А. П. Савельевой свидетельствуют о посещении Пушкиным Крылова за день или за два до дуэли («Русский архив», 1877, кн. III, стр. 402).

³⁹ Ю. Н. Тынянов, Архаисты и Пушкин (в сборнике статей Ю. Н. Тынянова «Архаисты и новаторы», «Прибой», 1929, стр. 87—227). Отмечаемые нами проблемы не получили надлежащего освещения и в книге Н. Л. Степанова «И. А. Крылов. Жизнь и творчество», ГИХЛ, 1949, в которой находим мы, однако, немало интересных данных об особой позиции Крылова в «Беседе любителей русского слова» в период борьбы ее с «Арзамасом» (стр. 94—95 и 138—143).

⁴³ Дневник В. К. Кюхельбекера Предисловие Ю. Н. Тынянова Редакция, введение и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929, стр. 303—304. Курсив Кюхельбекера. В письме от 29 июня 1839 г. из Баргузина к Н. Г. Глинке Кюхельбекер отмечал: «Легко статься может, что «Капитанская дочь» и «Пиковая дама» лучше всего, что когда-нибудь написано Пушкиным» («Летописи Гос. Литературного музея. Декабристы». Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, стр. 182).

⁴¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, 1955, стр. 140 В 1845 г., развивая эти же положения в статье «Иван Андреевич Крылов», великий критик утверждал, что «поэзия Крылова и в эстетическом и в национальном смысле должна относиться к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и сольших и малых В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа Крылов выразил и, надо сказать, выразил широко и полно одну только сторону русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию. Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца; мы видим в нем нечто большее» (там же, т. VIII, 1955, стр. 571).

⁴² М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VII, СПб., 1895.

⁴³ «Пушкин и его современники», вып. XXIX—XXX, 1918, стр. 35.

⁴⁴ Записи рассказов Крылова печатаются по беловому автографу ПД (собрание Л. Н. Майкова). Записи сделаны чернилами на полупрозрачной бумаге обычного канцелярского формата (без водяных знаков), сложенным вдвое. Размер рукописи 180×219 мм. Жандармская помета отсутствует. На бумаге след оттиснутого овального штампа с орлом Дата записи «11» переправлена самим Пушкиным из перво-

начально поставленной: 12 апр. 1833 При жизни Пушкина запись рассказов Крылова входила, очевидно, в обложку, обнаруженную нами в 1935 г. в неописанной пачке бумаг Пушкина в Государственной Публичной библиотеке им. В. И. Ленина («Материалы для «Истории пугачевского бунта», на 269 листах. По описи Румянцевского музея. № 2391. Ныне эти бумаги переданы в Пушкинский Дом) Рукою Пушкина обложка озаглавлена. «Журнал Симонова и показания Крылова (поэта)». Запись рассказов Крылова изъята была из этой обложки еще, вероятно, в середине пятидесятых годов П. В. Анненковым, от наследников которого автограф впоследствии перешел к Л. Н. Майкову. См. опись В. И. Срезневского «Пушкинская коллекция, принесенная в дар библиотеке Академии наук А. А. Майковой» («Пушкин и его современники», вып. IV, 1906, стр. 31).

⁴⁵ Последний из рассказов Крылова очень близок эпизоду из времен восстания Пугачева, отмеченному в «Автобиографических записках» сенатора Д. Б. Мертваго, опубликованных много лет спустя после смерти и Пушкина, и Крылова. Эпизод этот в записках Д. Б. Мертваго приурочен к лету 1774 г., когда он сам жил в занятом пугачевцами г. Алатыре (Симбирской губернии): «Все умы заняты были тогдашними суровыми происшествиями. Безпрерывные слухи о сражениях и убийствах и почти ежедневное зрелище смертной казни завели и у нас тому подобные игры. Мы разделились на две партии, из которых одной я был предводителем, и играли в войну. Однажды собралось мало мальчиков моей партии, и я, видя невозможность заццищаться на открытом месте и напасть, как прежде бывало, на неприятеля, засел в пустых срубках сгоревших изб. Предводитель неприятельской партии, сын ямщика, не зная, где мы скрывались, послал из партии своей лазутчиком мальчика-дворянина ровесника мне, и так же, как я, чудесным образом спасшегося от смерти, поручив ему разведать, откуда удобнее на нас напасть. Этот мальчик, маленький ростом, разделся и, прикрыв спину рогожею, пополз на животе исполнить данное ему поручение. Непонятель наш не знал, что для надзора за его движениями я поставил в скрытых местах несколько часовых, которые поймали и привели ко мне лазутчика. Я собрал начальников моей партии, нарядил суд, который решил виновного повесить, и как не любил я этого мальчика, но привел в исполнение приговор суда. К счастью нашему, петля, сделанная из той рогожи, которая покрывала лазутчика, слабо скрученная, была мягка и не сильно захватила горло; однако он переставал уже дышать, когда гарнизонный солдат, шедший по пустырю, увидев наши проделки, прибежал и во время снял повешенного, который долго лежал без чувства. Мы стали дышать ему в рот и качать, — и кое-как оживили. Не могу передать, как сильно я почувствовал важность моего преступления. Я сознался во всем пред солдатом, просил его отвести меня, как убийцу, к воеводе, говоря, что я достоин строгого наказания, что согрешил я пред богом и пред людьми и не должен более жить на свете. Когда мальчик ожил и солдат, только пожурив меня, отпустил, я сильно обрадовался, тотчас помирился с лазутчиком и, отыскав его платье, помог ему одеться, и как все мальчики разбежались, видя беду, то и мы воротились домой; с этих пор я дал себе слово не заводить вперед подобной забавы и играл только в козлы и чушки» («Автобиографические записки Д. Б. Мертваго», М., 1867, стр. 28—29).

⁴⁶ Некритическое отношение к официальным документам, игнорирующее специфику их происхождения и назначения, обусловило

неудачную попытку историка Н. Ф. Дубровина выступить в защиту И. Д. Симонова от нареканий Пушкина: «А. С. Пушкин обвиняет Симонова в робости, но это едва ли справедливо. Осторожность не есть робость, а между тем ни в одном из многочисленных показаний мы не встретили ни одного намека в подтверждение этого факта, да и сам капитан Крылов, считавший себя недостаточно награжденным, изложил свои заслуги в письме к П. С. Потемкину, но не упомянул, что он распорядился вместо Симонова» (Н. Дубровин, Пугачев и его сообщники, СПб., 1884, т. II, стр. 269).

⁴⁷ В несколько ином плане наши положения о функции образа капитана Миронова в «Капитанской дочке» и о связи этого образа с его историческим прототипом — капитаном Крыловым развиты были Г. А. Гуковским, утверждавшим, что в последнем романе Пушкина получило «явственное выражение» его одинаково положительное отношение и к Пугачеву и к капитану Миронову: «Индивидуально — они в разных лагерях, но в каждом из них говорит некая народная правда; и эта народная правда оценивается Пушкиным высоко, тогда как личные пути каждого из этих людей Пушкин отказывается судить» (Г. А. Гуковский, Пушкин и проблемы реалистического стиля, М., 1957, стр. 374).

⁴⁸ Печатается по автографу Пушкинского Дома в тетради Пушкина № 2385 (по нумерации бывш. Румянцевского музея), л. 16. Впервые опубликовано, с существенными неточностями, В. Е. Якушкиным в «Русской старине», 1884, № 7, стр. 530.

Н. И. Черняев, автор первой специальной историко-литературной работы, посвященной «Капитанской дочке», разбирая проект недописанного предисловия к ней, не сомневался в том, что «анекдот, о котором в нем <в этом предисловии> говорится, едва ли будет когда-нибудь узнан со всеми его подробностями» (Н. И. Черняев, «Капитанская дочка» Пушкина. Историко-критический этюд, М., 1897, стр. 81) Расшифровка строк Пушкина об «одном из наших альманахов», как указания на «Рассказ моей бабушки» в «Невском альманахе», впервые предложена была нами в комментариях к «Капитанской дочке» в «Полн. собр. соч. Пушкина в шести томах», «Academia», т. IV, 1936, стр. 753. Этой расшифровке, в настоящее время уже общепринятой, предшествовала наша же гипотеза о том, что Пушкин имел в виду в наброске своего предисловия альманах М. А. Максимова «Денница на 1834 г.», в котором опубликован был очерк С. Т. Аксакова «Бурани», широко использованный Пушкиным, как известно, при описании бурани во второй главе «Капитанской дочки» (А. С. Поляков, Картина бурани у Пушкина и С. Т. Аксакова. Сб. «Пушкин в мировой литературе», Л., 1926, стр. 287—288. Ср. Ю. Г. Оксман, К истории библиотеки Пушкина, «Сборник статей, посвященных академику А. С. Орлову», Л., 1934, стр. 445—446).

⁴⁹ Впервые связь некоторых фабульных деталей «Рассказа моей бабушки» с повестью Пушкина «Капитанская дочка» отмечена была Н. О. Лернером в его специальном докладе об этом, прочитанном в Пушкинском Доме АН СССР осенью 1933 г. Доклад Н. О. Лернера остался непечатанным, но факты, им установленные, были популяризированы в комментариях к «Полному собранию сочинений Пушкина в шести томах», изд. «Academia» (т. IV, 1936, стр. 753), и в статье В. Г. Гуляева «К вопросу об источниках «Капитанской дочки» («Пушкин» Временник Пушкинской комиссии, т. IV—V, 1939, стр. 198—211). В этой же статье инициалы «А. К.», которыми была под-

писана публикация «Рассказа моей бабушки» в «Невском альманахе», ошибочно раскрыты были как «А. Корнилович». Об А. Крюкове как авторе «Рассказа моей бабушки» см. в автореферате кандидатской диссертации Н. И. Фокича «Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (Л., 1955, стр. 8) и в брошюре: Peter Brang, «Puschkin und A. Kriukow». Berlin, 1957.

⁵⁰ Комендантом Нижне-Озерной крепости был не капитан Шпагин, как указывалось в «Рассказе моей бабушки», а майор Харлов, молодая жена которого после его гибели стала наложницей Пугачева (XI, ч. I, 27—28). Возможно, конечно, что Настя в «Рассказе моей бабушки» была дочерью Харлова от первого брака, а подлинную фамилию коменданта не позволяли сохранить в рассказе, предназначенном для печати, бытовые и литературные условности.

О близости образа капитана Миронова его прототипу в «Рассказе моей бабушки» свидетельствуют следующие строки последнего: «Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елизавете Петровне) командовал отставными солдатами, казаками и разночинцами <...> Батюшка мой (помяни господи душу его в царстве небесном) был человеком старого века <...>. Он или учил своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век) — или читал священные книги, хотя был учен по-старинному — и сам бывало говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. Зато уж он был великий хозяин <...>. Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу: старик поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кое-какие жители крепости» («Невский альманах на 1832 год», стр. 263—264).

⁵¹ Время приобретения Пушкиным этого экземпляра «Путешествия из Петербурга в Москву» связывается нами с началом его работы над «Историей Пугачева» на том основании, что ни в одном из произведений и писем Пушкина с конца двадцатых годов до середины 1833 г. мы не найдем не только каких-нибудь следов интереса к книге Радищева, но даже случайных упоминаний о ней. Надпись на принадлежавшей Пушкину книге гласит: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачен двести рублей. А. Пушкин». Книга, переплетенная в красный с золотым тиснением сафьян, имеет ряд критических замечаний и подчеркиваний на полях, сделанных красным карандашом. По предположению В. Л. Бурцева, все эти отметки принадлежат Екатерине II и использованы были как своего рода руководство к действию в допросах Радищева. См. об этом статью В. Л. Бурцева «Пушкинский экземпляр «Путешествия» Радищева с пометками императрицы Екатерины II» («Биржевые ведомости» от 13 декабря 1916 г., № 15981), а также сб. «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». Подготовили к печати М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер», М.—Л., «Academia», 1935, стр. 603—604.

Не рискуя сослаться на книгу Радищева ни в тексте «Истории Пугачева», ни в предисловии и в примечаниях к ней, Пушкин попытался в особой статье, якобы не связанной с основным его трудом, ввести в широкий научный и литературный оборот показания и суждения Радищева о тех противоречиях русской крепостнической действительности, которые в 1773—1774 гг. привели к крестьянской войне, но не утратили актуального значения и 60 лет спустя. Началь-

ная дата работы Пушкина над статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву» — 2 декабря 1833 г.

Вся дореволюционная литература об отношении Пушкина к Радищеву и его литературному наследию критически учтена в работе П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса», М., 1920. Дополняют и продолжают эту работу статьи В. П. Семенникова «Радищев и Пушкин» (В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования, М.—П., 1923, стр. 241—318); Г. П. Макогоненко, Пушкин и Радищев («Учен. зап. Лeningradского Гос. Университета», № 33, вып. 2, 1939); брошюра Н. А. Степанова «Пушкин и Радищев», Л., 1951; книги Вл. Орлова «Радищев и русская литература», изд. 2-е, дополненное, Л., 1952, стр. 164—189 и Б. С. Мейлаха «Пушкин и его эпоха», М., 1958, стр. 393—420.

⁵² «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге, 1790, стр. 387 (глава «Городня»).

⁵³ Там же, стр. 7 (глава «София»).

⁵⁴ Там же, стр. 260—262 (глава «Хотилон»).

⁵⁵ К. В. Пигарев. Рассуждение о неизменных государственных законах Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева («Литературное наследство», т. 60, кн. 1, стр. 353).

⁵⁶ «Восстание декабристов», т. II, 1926, стр. 71—72.

⁵⁷ Свое понимание «просвещенного дворянства», его историческо-го генезиса и политической функции в условиях феодализма и крепостничества Пушкин очень четко сформулировал в 1830 г. в набросках оконченной статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (XI, 173) и в заметках «О дворянстве» (XII, 205—206). Много внимания мыслям Пушкина о «просвещенном дворянстве» уделено было в работах Д. Д. Благого «Классовое самосознание Пушкина», М., 1927; П. Н. Сакулина «Классовое самосознание Пушкина» (Пушкинская Комиссия Общества любителей Российской словесности. «Пушкин». Сборник второй. М.—Л., 1930, стр. 3—78); С. М. Петрова «Проблема историзма в мировоззрении и творчестве Пушкина» (Академия Наук СССР. «А. С. Пушкин». 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств. М.—Л., 1951, стр. 204); Б. С. Мейлаха «Пушкин и его эпоха», М., 1958, стр. 412—421. В массовой литературе о Пушкине некоторое время бытовали антиисторические сожаления о том, что Пушкину так и не удалось отрешиться до конца своих дней от «коуга идей просвещенного дворянства», помешавших ему «стать на точку зрения крестьянской революции, как это сделал революционер-теоретик индий» (В. Ермаков, Наш Пушкин, М., 1949, стр. 70). Ответ на суждения этого рода дан был еще в 1937 г. в статье В. Александрова «Пугачев. Народность и реализм Пушкина»: «Не будем требовать от Пушкина того, чтобы он, оставаясь Пушкиным, был кроме того еще и Чернышевским: это слишком много для одного человека, даже такого человека, каким был Пушкин» («Литературный критик», 1937, кн. 1, стр. 44).

⁵⁸ Мы говорим о двух статьях, которые Пушкин предполагал посвятить Радищеву в своем «Современнике», а не об одной («Александр Радищев»), так как в дошедшем до нас большом перечне задуманных поэтом в 1836 г. статей и заметок о редких русских изданиях и зарубежных книгах о России сохранилась строка: «Путешествие <Радищев>». Как мы полагаем, это был последний след обращения Пушкина к рукописям его заметок о «Путешествии из

Москвы в Петербург», относившимся к периоду 1833—1835 гг. В академическое издание сочинений Пушкина перечень его статей, проектируемых для «Современника», не вошел. С наибольшей точностью он опубликован и объяснен в «Полн. собр. соч. Пушкина», «Academia», т. IX, 1937, стр. 304—305 и 740—741. Пушкин предположительно наметил и название всего цикла задуманных им публикаций: «Опыты библиографические».

⁵⁹ Записи рассказов И. И. Дмитриева впервые полностью опубликованы были В. Л. Комаровичем в приложениях к «Истории Пугачева» в академическом издании полного собрания сочинений Пушкина (IX, ч. II, 1940, стр. 497—498).

⁶⁰ Время работы Пушкина над хроникой П. И. Рычкова («Осада Оренбурга») мы относим к последним числам июля 1833 г., так как до этого времени автор «Истории Пугачева» мог знать о существовании труда Рычкова только по слухам. Основанием для нашей датировки первых выписок из «Осады Оренбурга», сохранившихся в бумагах Пушкина (IX, ч. II, 759—772), является письмо поэта к Г. И. Спасскому, известному знатоку Сибири и Приуралья: «Мне сказывали, что у вас находится любопытная рукопись Рычкова, касающаяся времен Пугачева. Вы оказали бы мне истинное благодеяние, если б позволили пользоваться несколько дней сею драгоценностью» (XV, 68). Письмо это не имеет даты. Однако черновой карандашный его набросок, сохранившийся в записной книжке Пушкина на том же листе, на котором набросан тем же карандашом проект письма к Бенкендорфу от 22 июля 1833 г. (XV, 224), не позволяет отделять эти черновики один от другого более чем на день или два (датировка письма к Г. И. Спасскому в академическом издании (XV, 261) излишне широка и никак не мотивирована: «Июнь—18 июля 1833»). Подтверждением исполнения Спасским просьбы Пушкина являются строки одного из примечаний в третьей главе «Истории Пугачева» о трех списках «любопытной рукописи академика Рычкова, доставленных мне гг. Спасским, Языковым и Лажечниковым» (IX, 101). Список Языкова Пушкин не мог получить раньше своего пребывания в Симбирской усадьбе Языковых, т. е. осени 1833 г. (XV, 79, 80, 83), а список Лажечникова оказался в его распоряжении лишь в апреле 1834 г. (XV, 127).

⁶¹ Мы воспроизводим черновик письма Пушкина к Дмитриеву, дополняя недописанные слова и опуская зачеркнутые. Весьма характерно, что Пушкин отмечает свою возможность работать над материалами о Пугачеве как «случай». Выражая желание «прочсть возможно позже» полный текст записок Дмитриева, Пушкин имеет в виду решение их автора не печатать мемуары при жизни.

⁶² Дата приезда И. И. Дмитриева в Петербург нами установлена по информации об этом в «Северной пчеле» от 14 июня 1833 г. № 131. Ср. запись в дневнике П. А. Вяземского: «15 июня 1833 г. Я сегодня обедал у Дмитриева. Каждые два часа беседы с ним могут дать материалов на несколько глав записок» («Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», т. VII, 1882, стр. 166). Во время пребывания И. И. Дмитриева летом 1833 г. в Петербурге Пушкин услышал от него о некоторых подробностях заговора против императора Павла, давших материал для позднейшей его записки (от 6 октября 1834 г., в Болдине): «Дмитриев предлагал имп. Александру Муравьева <Апостола> в сенаторы. Царь отказал начисто» и пр. (XII, 161). Из Петербурга Дмитриев выехал в Дерпт 16 июля 1833 г. («Северная

пчела» от 21 июля 1833 г., № 162). О выезде его из Дерпта в Москву см. письмо П. А. Вяземского от 2 августа 1833 г. к А. Я. Булакову («Русский архив», 1879, № 6, стр. 240).

⁶³ Наши соображения о датировке чернового письма Пушкина к Дмитрию позволяют отвергнуть ничем не мотивированную дату этого наброска в академическом издании Пушкина — «Март-апрель 1833 г.» (XV, 62), равно как и отнесение этого черновика к «второй половине ноября 1833 г.» в «Письмах Пушкина» под ред. Л. Б. Модзалевского, т. III, 1935, стр. 660.

⁶⁴ Из «20 особ», присутствовавших на этом обеде, в «Северной пчеле» названы были Д. Н. Блудов и барон Людероде, саксонский посланник при русском дворе. В письме от 3 августа 1833 г. сам Дмитриев выразил особенную признательность за оказанное ему внимание в день 14 июля обоим «графам Вильегорским, А. С. Пушкину и П. А. Плетневу» («Письма И. И. Дмитриева к кн. П. А. Вяземскому», СПб., 1898, стр. 157). Имена других участников обеда (в том числе Гоголя, Д. И. Хвостова, С. С. Уварова) позволяют установить подписной лист на сооружение памятника Н. М. Карамзину, заполнявшийся на этом же обеде («Литературное наследство», т. 52, стр. 247, а также справка О. С. Соловьевой «Новейшие приобретения пушкинского текста» в сб. «Пушкин». Исследования и материалы, т. 2, 1958, стр. 400—402).

⁶⁵ Сводку биографических данных о сенаторе Д. О. Баранове (1773—1834) см. в примечаниях Л. Б. Модзалевского к «Письмам Пушкина», т. III, 1935, стр. 586—587.

⁶⁶ В бумагах Пушкина сохранились копии основных документов дела Казанской губернской канцелярии о бегстве Пугачева из Казанской тюрьмы. Эти копии, озаглавленные Пушкиным «О побеге Пугачева», впервые полностью опубликованы в 1940 г. в приложениях к академическому изданию «Истории Пугачева» (IX, ч. 2, стр. 723—747). Характеризуя эти материалы, Г. П. Блок в своих заключениях о методах работы Пушкина над историческими источниками отметил, что в печати данные казанского архива занимают «полных 25 страниц, т. е. около 1000 строк. В «Истории Пугачева» эти 1000 строк обратились в 7 строк, причем цитат здесь нет» («Пушкин в работе над историческими источниками», М.—Л., 1949, стр. 67). Это наблюдение приходится отнести, ибо история бегства Пугачева написана была Пушкиным, как свидетельствует первая редакция «Истории Пугачева, до знакомства поэта с материалами архива Казанской губернской канцелярии. Ни один документ из этой серии материалов не был учтен и в печатном тексте «Истории Пугачева».

⁶⁷ В черновой редакции «Замечаний о бунте», писанных для царя, сохранилась следующая ссылка Пушкина на рассказы И. И. Дмитриева об архаических фигурах казанского губернатора и его жены: «Ив. Ив. Дмитриев описывал мне Корфа как человека очень простого, а жену его как маленькую и старенькую дуру; муж и жена открывали всегда губернаторские балы меноветом à la geïne. Он в старом мундире времен Петра I, она в венгерском платье и в шляпе с перьями» (IX, ч. I, 476). В автографе, видимо, описка: «Корфа» вм. «Брандта».

⁶⁸ Об этом см. выше в главе «Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева», стр. 42. Характеризуя действия кн. Урусова при усмирении Башкирии в 1741 г., Пушкин в «Истории Пугачева» писал: «Казни, произведен-

ные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. «Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четверговали. Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков), простили, отрезав им носы и уши». Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта» (IX, ч. I, 373). По рецептам кн. Урусова действовали усмирители восстания Пугачева и в 1774 г.: «Комендант Верхне-Яицкой крепости, полковник Ступишин,— отмечал Пушкин,— вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унялись» (IX, ч. I, 55).

⁶⁹ Характерно, что И. И. Дмитриев, обращение к которому летом 1833 г. обогатило Пушкина ценным материалом о делах и людях периода 1773—1774 гг., вновь опрашивается Пушкиным в 1835 г. уже в связи с поисками данных для политической биографии Радищева. Мы имеем в виду заметку Пушкина о Радищеве и его друзьях («Козодавлев, Ушаков и Радищев из пажей, Насакин, Наумов из гвардии сержантов посланы Екатериною в чужие края» и пр.), до сих пор не датированную и не объясненную в специальной литературе о Пушкине и Радищеве. О том, что запись эта сделана со слов Дмитриева, свидетельствуют заключительные строки заметки: «Дмитриев у Державина слышит от Козодавлева об Путешествии». Державин доносит о путешестве Зубову» (XII, 351—352).

Заметка эта относится к осени 1835 г., ибо летом 1833 г., когда Пушкин впервые опрашивал Дмитриева о событиях конца XVIII столетия, факты биографии Радищева еще не входили в сферу его интересов. Работа над «Путешествием из Петербурга в Москву», начатая 2 декабря 1833 г., продолжалась в 1834—1835 гг., сочтясь под конец с собиранием материалов для литературно-биографической статьи «Александр Радищев». В августе 1835 г. Дмитриев вторично приезжает в Петербург, где остается до 7 сентября («Северная пчела», 1835, от 12 сентября, № 204; «Русский архив», 1868, стр. 639—640). К одной из встреч его с Пушкиным в эту пору и должен быть приурочен рассказ о Радищеве и его окружении, отмеченный нами выше. О близости Дмитриева к О. П. Козодавлеву, свидетельства которого занимали центральное место в заметке Пушкина о Радищеве, см. «Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника И. И. Дмитриева», М., 1866, стр. 200.

⁷⁰ Письмо С. Энгельгардта, дальнего родственника В. В. Энгельгардта, передано было последним Пушкину вместе с биографией Н. З. Повало-Швейковского. Оно зарегистрировано в «Журнале, веденном при разборке бумаг покойного А. С. Пушкина» с 15 по 17 февраля 1837 г. («Дела III Отделения С. Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине», СПб., 1906, стр. 190). Впервые опубликовано нами в «Литературном наследстве», т. 16—18, 1934, стр. 460, по автографу, хранившемуся в собрании П. Е. Щеголева (ныне в Пушкинском Доме АН СССР).

⁷¹ «Биография секунд-майора Н. З. Повало-Швейковского» (IX, ч. 2, 498—500) обнаружена была нами в пачке бумаг Пушкина, хранящихся в Государственной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина под № 2391, лл. 270—272 (ныне в ПД). В известной описи

В. Е. Якушкина пачка эта обозначена следующим образом: «Материалы для Пугачевского бунта. Материалов очень много, все ненапечатанное. Всего 269 листов, почти все рукою Пушкина» («Русская старина», 1884, № 12, стр. 573). Биография, писанная на трех листах (бумага с водяным знаком 1833 г.), из которых последний занят примечаниями, впервые опубликована нами в 1934 г. вместе с письмом С. Энгельгардта. См. выше примеч. 70. В очень неточной и тенденциозной передаче некоторые детали рассказов Повало-Швейковского попали в печать четверть века спустя после записи их для Пушкина. Мы имеем в виду публикацию А. Кононова под названием «Два семейные предания» («Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1862, кн. III, отд. V, стр. 346—347).

⁷² Неточность в рукописной редакции «Истории Пугачева» об условиях перевозки пленного Пугачева из Симбирска в Москву, впоследствии устранившая Пушкиным на основании записки Н. З. Повало-Швейковского, объяснялась тем, что другие источники по истории пугачевщины не учитывали замены «деревянной клетки», в которой привезен был самозванец из Яицкого городка, на «простую кибитку», доставившую его из Симбирска в Москву. Свидетели первой части пути пленного Пугачева говорили поэтому о клетке, свидетели второй — о кибитке.

⁷³ Об этой выписке из бумаг Д. Н. Бантыша-Каменского см. далее, стр. 80. Рукописные первоисточники справок Пушкина о Белобородове и Перфильеве опубликованы были полностью в «Словаре достопамятных людей русской земли», 1836, ч. I, стр. 238 (справка о Белобородове) и ч. IV, стр. 132—133 (справка о Перфильеве). Самый стиль биографии Бантыша-Каменского очень ярко характеризуют следующие его строки о Белобородове: «Сей любимец пугачевский, ученый между разбойниками, потому, что умел подписывать, кое-как, свое имя и управлял пушками, не избег праведной мести».

⁷⁴ Б. А. Модзалевский, Библиотека Пушкина (библиографическое описание), СПб., 1910, стр. 225—226.

⁷⁵ Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot, publiés d'après les manuscrits confiés, en mourant, par l'auteur à Grimm, Paris, 1830, t. I, p. 44—49. В полном собрании сочинений Дидро, сохранившемся в библиотеке Пушкина, русским его отношениям посвящены были некоторые материалы третьего и двенадцатого томов. См., напр., публикации «Sur la princesse d'Aschkow» и «Plan d'une université pour le gouvernement de Russie» («Oeuvres de D. Diderot», t. III, Paris, 1821, p. 93—105; t. XII, p. 149—234). Сводку высказываний Дидро о России и русских см. в работах В. А. Бильбаова «Дидро в Петербурге», СПб., 1884; М. Тоугпеих «Diderot et Catherine II», Paris, 1899; М. П. Алексеева «Д. Дидро и русские писатели его времени» («XVIII век», сборник 3, 1958, стр. 416—431).

⁷⁶ «Записки кн. Е. Р. Дашковой». Перевод с французского по изданию, сделанному с подлинной рукописи под редакцией и с предисловием Н. Д. Чечулина, СПб., 1907, стр. 101—103. Пушкин, в бумагах которого сохранились выписки из французского текста воспоминаний Дашковой, относящиеся к биографии Радищева (см. сб. «Рукою Пушкина», М.—Л., 1935, стр. 589—592), пользовался, вероятно, тем списком с рукописи Дашковой, который принадлежал П. А. Вяземскому («Русский архив», 1866, стр. 1721). Дата выпи-

сок Пушкина из записок кн. Дашковой о Радищеве не установлена, но, видимо, они сделаны в пору работы над статьями о Радищеве и его книге, т. е. между 1833 и 1836 г. С дискуссией о рабстве крестьян, которую вел Дидро с кн. Дашковой, хорошо гармонировал отзыв Екатерины II о великом энциклопедисте: «Monsieur Diderot a cent ans à bien des égards, mais à d'autres il n'en a que dix» (Castéra «Vie de Catherine II», t. II, p. 67).

⁷⁷ Н. Карамзин, Сочинения, т. IV, М., 1803, стр. 193 («Письма русского путешественника», ч. III, письмо из Парижа от 1790 г.).

⁷⁸ Известный тезис Аполлона Григорьева о тождестве образов Белкина и Гринева и об адекватности их взглядов философско-историческим позициям самого Пушкина, прокламированный в его статьях 1859—1861 гг. («Соч. Аполлона Григорьева», т. I, СПб, 1876, стр. 252, 254, 514), широко популяризировался в массовой литературе о Пушкине второй половины XIX в. В наиболее обнаженной форме эта концепция поставлена была на службу самодержавно-дворянской реакции в книге Н. И. Черныева «Капитанская дочка». Анализируя афоризмы Гринева о революции, исследователь утверждал, что именно в них «заключался символ веры политических убеждений не только Гринева, но и Пушкина, раз навсегда покончившего в зрелые годы своего ума и таланта с революционным увлечением молодежи» (Н. И. Черныев «Капитанская дочка». Историко-критический этюд, М., 1897, стр. 50). Очень близок этим тенденциозным искажениям взглядов Пушкина неожиданно оказался Н. О. Лернер, один из крупнейших буржуазных пушкиноведов начала XX столетия. В своей работе «Проза Пушкина», появившейся впервые в 1908 г. на страницах известного коллективного труда «История русской литературы XIX в.», под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского (Изд. «Мир», т. I, ч. 2, стр. 376—428), Н. О. Лернер следующим образом трактовал литературно-политические взгляды Пушкина в пору создания им «Капитанской дочки»: «Своей эпохой в смысле движения вперед он <Пушкин> был очень доволен: «конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного», — писал он в одну из самых мертвых эпох русской жизни, в середине 30-х годов: — «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». Призрак революции пугал Пушкина, который, наконец, дошел до того, что не мог говорить спокойно о Радищеве и его книге». Эти строки, перепечатанные без всяких перемен в отдельном издании очерка Н. О. Лернера («Проза Пушкина», изд. 2-е, «Книга», П.—М., 1923, стр. 90), очень сочувственно цитировались П. Н. Сакулиным в работе «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса», М., «Альциона», 1920, стр. 57.

⁷⁹ В книге Н. Л. Бродского «А. С. Пушкин» мы читаем, что в известной политической формулировке «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — мемуарист Гринева, дворянин, переживший кровавые годы «пугачевщины», точно выразил не только свое отношение к событиям 1773—1774 годов, — Пушкин также разделял это мнение о «русском бунте», то-есть о крестьянском восстании, мужицкой Македни. «Бессмысленным» ему казался народный мятеж не потому, что Пушкин не видел в нем социально-политической цели, внутреннего смысла: «Цель гнусного бунта была ниспро-

вержение престола и истребление дворянского рода», — кратко и вполне исторично сформулировал автор «Капитанской дочки» свое понимание крестьянского движения XVIII в. Антидворянский характер этого движения, протест крестьянской массы против самодержавно-дворянского государства, — вот в чем, по мнению Пушкина, был смысл движения с точки зрения восставших. «Русский бунт» не был в глазах Пушкина без смысла, без определенных политических идей. Крестьянскую войну Пушкин обесмысливал тем, что признавал ее обреченность на неудачу и бесцельность кровавых жертв, ее бесполезность и неосуществимость выставленных лозунгов» (Н. Бродский, А. С. Пушкин. Биография, М., 1937, стр. 854—855).

Совершенно категорическими были утверждения о тождестве Пушкина и Гринёва в исследовании Н. К. Пиксанова «Крестьянское восстание в «Вадиме» Лермонтова»: «В VI главе «Капитанской дочки», которая носит выразительное название «Пугачевщина», Пушкин пишет от имени Гринёва: «Молодой человек, если записки мои попадут в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». А в статье «Путешествие из Москвы в Петербург», посвященной Радищеву, Пушкин уже от своего собственного имени говорит: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения <...> Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» («Историко-литературный сборник». Под ред. С. П. Бычкова, Ф. М. Головенченко, С. М. Петрова. М., 1947, стр. 221—222). На этих же позициях остается по сути дела и С. М. Петров, подчеркивающий в своей статье «Исторический роман Пушкина», с одной стороны, «факт неправильной трактовки» некоторыми из наших литературоведов сентенции «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный», а с другой стороны, уклоняющийся от объяснений, в чем же эта «неправильность» состоит, и заявляющий: «Пушкин никогда бы не вложил в уста своего героя такой многозначительной фразы без важных на то соображений» (там же, стр. 162).

⁸⁰ «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к С. И. Тургеневу» (редакция и примечания А. Н. Шебунина), М.—Л., 1936, стр. 241. Курсив наш. Свое понимание «просвещения» Н. И. Тургенев в записке «Нечто о состоянии крепостных крестьян» (1819 г.) сформулировал очень осторожно: «Россия, как думают многие и как позволительно думать каждому, делает успехи в просвещении. Но в чем состоит истинное гражданское просвещение? — Оно состоит в знании своих прав и своих обязанностей» (сб. «Декабристы. Отрывки из источников», М., 1926, стр. 50—51). Эти определения расшифровываются при их сравнении с первоисточником Н. И. Тургенева. Мы имеем в виду книгу И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России» (СПб., 1804): «Просвещение, в настоящем смысле приемлемое, — писал Пнин, — состоит в том, когда каждый член общества, в каком бы звании ни находился, совершенно знает и исполняет свои обязанности: то-есть, когда начальство с своей стороны свято исполняет обязанности в вверенной ему власти, а нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего повиновения. Если сии два состояния не переступают своих мер, сохраняя должное в отношении своих равновесие, тогда просвещение достигло желаемой цели <...> Там, где царствует просвещение, там спокойствие и блаженство суть удел каж-

дого гражданина. Но доколе власть во зло употребляет доверенность, обществом ей делаемую, доколе подчиненность не перестает выходить из своих пределов и доколе равновесие гражданственных взаимностей теряется, доколе та страна, хотя бы она состояла вся из ученых и философов, едва ли счастливее той, которая покрыта мраком невежества» (Иван Пнин, Сочинения. Подгот. к печати и комментарий В. Н. Орлова, М., 1934, стр. 123—124).

⁸¹ «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к С. И. Тургеневу», М.—Л., 1936, стр. 267. Характерно использование Черной Грязи в этом же символическом значении в трагедии В. К. Кюхельбекера «Прокофий Ляпунов» (1834 г.), в которой крестьяне на вопрос героя о названии их села отвечают: «Черные Грязи, барин» (В. К. Кюхельбекер. Драматические произведения. Ред. и прим. Ю. Тынянова, Л., 1939, стр. 291). Пессимистическое отношение к перспективам развития русской культуры в условиях крепостного строя звучит не только в каламбуре Пушкина о «первой станции просвещения», но и в одной из строф седьмой главы «Евгения Онегина», написанной ровно десять лет спустя:

Когда благому просвещению
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц
Лет чрез пятьсот)...

⁸² «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге. 1790 (глава «Черная Грязь»), стр. 417—418.

⁸³ И. П. Пнин, Опыт о просвещении относительно к России (1804 г.). Цитируем по «Сочинениям» И. П. Пнина, М., 1934, стр. 132. Литературно-политическую характеристику Пнина и наиболее полный свод био-библиографических материалов о нем см. в книге В. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х годов», ГИХЛ, 1950, стр. 63—176 и 445, 459.

⁸⁴ И. П. Пнин, Опыт о просвещении относительно к России («Сочинения», 1934, стр. 133. Курсив подлинника).

⁸⁵ Записка Н. И. Тургенева «Нечто о состоянии крепостных крестьян», объединявшая политические, экономические, исторические и моральные доводы в пользу немедленной ликвидации крепостных отношений, впервые опубликована была по беловому автографу, представленному Александру I, в «Сборнике исторических материалов, извлеченных из архива собственной его императорского величества канцелярии», вып. IV, СПб., 1891, стр. 441—450. По экземпляру, сохранившемуся в архиве автора, напечатана самим Тургеневым в книге его «Взгляд на дела России». Лейпциг, 1862, стр. 10—38.

⁸⁶ Записка В. Ф. Раевского «О рабстве крестьян», дошедшая до нас лишь в виде нескольких черновых фрагментов, была несомненно закончена (не позже декабря 1820 г.) и имела распространение в кругах, идейно близких ее автору. См. о ней в нашей статье «Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX в.» в «Очерках по истории движения декабристов» под ред. Н. М. Дружинина и Б. Е. Сыроечковского, М., 1954, стр. 509. В своих воспоминаниях, писанных уже в Сибири, В. Ф. Раевский при характеристике задач, стоявших перед членами Союза Благоденствия, отметил борьбу за «Развитие просвещения, т. е. умножение учебных заведений и народных школ, свободу слова и печати, гласное судопроизводство» («Литературное наследство», т. 60, кн. 1, 1956, стр. 83). Эта форму-

лировка особенно интересна при учете разных толкований понятия «просвещение» деятелями передовой общественности первой четверти XIX в.

⁸⁷ «Русская старина», 1896, кн. 10, стр. 74—75 (Сообщение Н. К. Шильдера). Тезис Бенкендорфа о том, что «у нас, со времен Петра Великого, всегда впереди нации стояли ее монархи», выхвачен был из очень популярной после разгрома декабристов концепции русского исторического процесса, пропагандируемой П. Я. Чаадаевым (см., напр., «Соч. и письма П. Я. Чаадаева», т. II, 1914, стр. 218 и 306—307). Характерно, что и Пушкин, полемизируя с некоторыми положениями Радищева в своих заметках о «Путешествии из Петербурга в Москву», вкладывает в уста московского либерального барина мысль о том, что «со времен возведения <на престол> Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия» (XI, 223). Перефразировкой мыслей Чаадаева о возможностях революции сверху являются рассуждения об этом в статьях и книгах В. Ф. Одоевского, Н. А. Мельгунова, М. П. Погодина, в письме Белинского к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г., в некоторых записках Герцена. См. об этом «Известия ОЛЯ», 1956, № 2, стр. 169—170 и в комментариях к «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XI, 1956, стр. 624.

⁸⁸ Пушкин, цитируя в своей записке «О народном воспитании» царский манифест, обнародованный в связи с окончанием процесса декабристов, писал: «Не просвещению, сказано в высочайшем манифесте от 13 июля 1826 года, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний, должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — позибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» (XI, 43—44. Курсив Пушкина). С этим пониманием «просвещения» связана сентенция Пушкина в его Кишиневских заметках по русской истории XVIII в.: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения» (XI, 14). Ср. его же строки о Петре в «Стансах» 1828 г.:

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение.

⁸⁹ В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 22, стр. 175. Вопрос об «Эзоповском языке» в статьях Пушкина о Радищеве, поставленный А. И. Герценом еще в 1858 г., явился предметом специального рассмотрения в работах В. Е. Якушкина «Радищев и Пушкин» («Чтения Общества истории и древностей Российских при Московском университете», 1886, кн. 2, стр. 1—58) и П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса», М. 1920. Первый из них утверждал, что Пушкин под видом полемики с Радищевым пытался пропагандировать его общественно-политические взгляды, а второй рассматривал эти же самые статьи Пушкина лишь как выражение полного несогласия великого поэта с идеями «Путешествия из Петербурга в Москву». В советском литературоведении утвердилась точка зрения В. Е. Якушкина (с некоторыми оговорками, имевшими в виду учет Пушкиным того «опыта истории», которым не мог располагать Ради-

щев). Самая возможность споров о толковании замысла обеих статей свидетельствует о том, что Пушкин в своем стремлении «перехитрить» цензуру не нашел пути к правильному пониманию читателями его подлинных политических позиций, затемненных условиями эзоповского языка. Б. С. Мейлах, характеризуя в своей книге «Пушкин и его эпоха» исключительные трудности изучения статей Пушкина о Радищеве, очень убедительно рекомендует необходимость детального исследования всех дошедших до нас черновых и беловых набросков Пушкина о книге Радищева в их «динамике», так как «ни одна рукопись Пушкина не содержит столько противоречивых, даже взаимоисключающих вариантов одних и тех же формулировок, столько оговорок и всевозможных ухищрений с целью обойти цензуру. Весьма важным является то, что в пушкинском «Путешествии» образ путешественника не тождествен Пушкину» («Пушкин и его эпоха», М., 1958, стр. 393—410).

⁹⁰ А. И. Герцен, знавший большую часть беловой редакции «Русской избы» по посмертному изданию «Сочинений Александра Пушкина» (т. XI, 1841, стр. 47—50), очень внимательно учел наблюдения великого поэта в своем введении к работе «О развитии революционных идей в России»: «Крестьянин, живущий в этих домишках, — все в том же положении, в каком застали его кочующие полчища Чингизхана. События последних веков пронесли над его головой, даже не заставив его задуматься. Это — промежуточное существование между геологией и историей. У этой формации свой особый характер, образ жизни, физиология, но нет биографии» (А. И. Герцен, Собр. соч., т. VII, 1956, стр. 138. Цитируем в переводе с франц. оригинала).

⁹¹ Эта цитата из главы «Пешки» заменена была в заметках Пушкина о «Путешествии из Петербурга в Москву» выпиской из башни Крылова. Разбирая главу «Медное», Пушкин также отказывается от ее цитирования, замечая: «Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях <...>, с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле» (XI, 263). В. А. Десницкий в своем анализе этих строк Пушкина ставит вопрос о том, «с чем Пушкин «соглашается поневоле?» и вместо ответа выписывает то самое место из главы «Медное», с которым Пушкин «согласился»: «Все те, кто мог бы свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Как далее заключает В. А. Десницкий, Пушкин не сомневается в том, что «Предпосылки для 1793 года у нас имеются (крестьянский вопрос и возможности его разрешения «от самой тяжести порабощения»); но их нет для 1789 года. В самоотечестве русского дворянства, в русском 4 августа Пушкин не верит... Отсюда пушкинский русский вариант концепции французских историков: осуществление принципов 1789 г. не революцией, а разумом «просвещения» и волею просвещенного монарха» (В. Десницкий, Пушкин и мы. Вводная статья в однотомнике «Соч. Пушкина», Л., 1936, стр. 20—21).

⁹² В. В. Виноградов, характеризуя «основные средства реалистического преобразования всей стилистической системы исторического романа в творчестве Пушкина, усматривает их прежде всего в «новых принципах структуры «образа автора», «образа повествователя» и новых формах взаимоотношений между стилем повествования и стилями речей действующих лиц». Самое повествование в «Капитанской дочке» отражало «два разных исторических периода, которые иногда и сопо-

ставлялись. С одной стороны, происшествия, люди, речи и документы времени пугачевского восстания воспроизводились в их «исторической истине», в формах языка и стиля того времени. А с другой стороны, Гринев как мемуарист излагает события 70-х годов XVIII века уже спустя несколько десятилетий, «в краткое царствование императора Александра». Таким образом, стиль его изложения, пусть и в разной мере, характеризует две эпохи и тем самым до некоторой степени сближается с языком современности» (В. Виноградов, Из истории стилей русского исторического романа. «Вопросы литературы», 1958. № 12, стр. 134—135).

⁹³ В бумагах Пушкина сохранились выписки из материалов, сообщенных ему Д. Н. Бантышом-Каменским («Об Аристове», «О Белобородове и Перфильеве», «Хлопуша, Чика, Шелудяков», «О Кудрявцеве», «О полковнике Толстом», «О Рейнсдорпе»). Первые две выписки, впервые опубликованные нами в 1934 г., см. выше, стр. 21 и 65; остальные напечатаны В. Л. Комаровичем в «Полн. собр. соч. Пушкина», т. IX, ч. 2, 1940, стр. 775—777. Пушкин возвратил Бантышу-Каменскому полученные им материалы 26 января 1835 г. (XVI, 8). Можно не сомневаться в том, что выписок из бумаг Бантыша-Каменского сделано было Пушкиным значительно больше, чем это сейчас нам известно, так как фонды черновых материалов, относящиеся к работе поэта над «Историей Пугачева», сохранились далеко не полностью.

⁹⁴ Первая часть рукописи «Истории Пугачева», представленная Пушкиным царю 6 декабря 1833 г., возвращена была ему через Жуковского 29 января, а вторая часть через Бенкендорфа 8 марта 1834 г. Печатание «Истории Пугачева» началось 4 июля 1834 г., но работа над примечаниями продолжалась еще в конце этого месяца. Так, 26 июля 1836 г. Пушкин писал жене: «Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания» (XV, 182). Об окончании печатания «Истории Пугачева» Пушкин довел до сведения Бенкендорфа 23 ноября 1834 г. Резолюция Николая I о разрешении выпуска книги в свет положена была на докладе об этом начальника III Отделения 18 декабря. Фактически «История Пугачева» поступила в продажу 29 декабря 1834 г. Цензурная история книги освещена в статьях: Т. Г. Зенгер «Николай I — редактор Пушкина» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 524—535); Р. И. Чхеидзе «История Пугачева» Пушкина и царская цензура» («Труды Тбилисского Гос. Университета», т. XXX—XXXI, 1947, стр. 135—175).

⁹⁵ «Капитанская дочка», гл. XI (VIII, ч. 1, 347—350). Используя в своем романе биографию Белобородова, написанную Бантышом-Каменским, Пушкин ориентировался не только на свои выписки, но и на полный ее текст, где справка о «жестокости» Белобородова мотивирована была данными о том, что он «предал мучительной смерти многих помещиков» («Словарь достопамятных людей русской земли», ч. 1 М., 1836, стр. 237). См. выше, стр. 79—80.

⁹⁶ «Словарь достопамятных людей русской земли, составленный Дмитрием Бантыш-Каменским», ч. IV, Москва. В типографии Лазаревых. 1836, стр. 231—253. Дата цензурного разрешения: 30 октября 1836 г.

⁹⁷ Все эти свидетельства о Пугачеве, положенные в основание биографической справки Бантыша-Каменского, перепечатаны в «Истории Пугачева» (IX, кн. 1, 175—179, 180—184, 235, 324).

⁹⁸ «Словарь достопамятных людей русской земли», ч. IV.

стр. 252—253. Далее следовали строки, основанные на показаниях И. Иванова о суде и расправе Пугачева после взятия им крепости Ильинской. Эти же показания использованы были Пушкиным в «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 35—36) и в «Капитанской дочке» (VIII, ч. 1, 324—325).

⁹⁹ Показания жены Пугачева см. в примеч. к главе IV «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 107). Копия показаний Кожевникова, у которого Пугачев скрывался после бегства своего из Казанской тюрьмы, сохранились в архиве Пушкина (IX, ч. II, 692—695).

¹⁰⁰ Показания Пустовалова, включенные в хронику П. И. Рычкова и опубликованные в приложениях к «Истории Пугачева», легли в основу характеристики Пугачева в главе третьей (IX, ч. 1, 27). Выписки из этих же показаний сохранились в архиве Пушкина (IX, ч. 2, 769).

¹⁰¹ Анекдот «Когда Пугачев сидел на Монетном дворе», сокращенный в рукописи самим Пушкиным, мы даем в его начальной, наиболее полной и точной редакции. Во всех изданиях сочинений Пушкина слова Пугачева о Петре печатались в редакции: «и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости». Как мы полагаем, это искажение объясняется тем, что Пушкин, готовя к печати часть анекдотов, вошедших в рукопись, названную им «Table-Talk» («Застольные рассказы»), сам пытался приспособить анекдот о Пугачеве к цензурным требованиям. Однако эта уловка не помогла (или сам он от нее отказался), и рассказы о Пугачеве не попали в ту подборку, которая появилась на страницах «Современника» в 1836 г., т. III, стр. 187—191, под заголовком «Анекдоты». После смерти поэта анекдот о Пугачеве опубликован был в «Современнике» 1837 г., т. VIII, стр. 229—230 в сокращенной редакции, перепечатывавшейся затем в течение ста лет во всех изданиях сочинений Пушкина. Первая редакция пушкинских записи «Когда Пугачев сидел на Монетном дворе» восстановлена была нами впервые по рукописи Пушкина в 1936 г. («Пушкин», Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, стр. 435). В академическом издании сочинений Пушкина анекдот о Пугачеве произвольно печатается в сокращенной редакции, а зачеркнутая строка дается лишь в подстрочном примечании (XII, 161).

¹⁰² Черновой набросок стихов «Вот мой Пугач» и пр. датируется началом 1835 г. (III, ч. 2, 1267). Мы полагаем, что в дату утраченного белого автографа этого обращения Пушкина к Д. В. Давыдову («18 января 1836 г.») при ее публикации Н. В. Гербелем вкралась ошибка: 1836 г. вместо 1835 г.

¹⁰³ Н. И. Тургенев. Нечто о состоянии крепостных крестьян в России (1819). См. выше стр. 72 и 123.

¹⁰⁴ «Архив князя Воронцова», кн. V, М., 1872, стр. 407—422. Отзыв Екатерины II о Радищеве был не так уж далек от той официальной политической характеристики, которая дана была Пушкину в «Отчете о действиях корпуса жандармов» за 1837 г.: «В начале сего года, — отмечалось в этом отчете Бенкендорфа, — умер от полученной на спине раны, знаменитый наш стихотворец Пушкин. — Пушкин соединял в себе два отдельных существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он однако же до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных» (П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, 1931, стр. 148).

¹⁰⁵ Об этом подробнее см. выше, стр. 76—77 и 24 (примеч. 89).

В политических афоризмах Гринева Пушкин явно пародировал язык и стиль философско-исторических сентенций В. Б. Броневского, выступившего против «Истории Пугачева» в «Сыне отечества» 1835 г.: «Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, — писал Пушкин, — слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий» (IX, ч. 1, 392). Не менее резко Пушкин в письме от 26 апреля 1835 г. к И. И. Дмитриеву протестовал и против критиков «Истории Пугачева» слева: «Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону» (XVI, 21).

¹⁰⁶ Этот эпизод отсутствует в биографии П. И. Панина, составленной Д. Н. Бантышом-Каменским и вошедшей в «Словарь достопамятных людей русской земли» (ч. IV, М., 1836, стр. 108—126). Сам Панин в письме из Симбирска от 2 октября 1774 г. к кн. М. Н. Волконскому отмечал: «Пугачев, на площади, скованный, перед всем народом велегласно признавался и каялся в своем злодеянии, и отвел тут от моей распалившейся крови на его произведенные злодеяния несколько моих пощечин» (Н. Дубровин, Пугачев и его сообщники, т. III, СПб., 1884, стр. 307). Основываясь на этом официальном письме и забывая о том, что Панин вовсе не был заинтересован в точной передаче интересующего нас эпизода, Н. Ф. Дубровин не преминул отметить, что рассказ Пушкина о встрече графа Панина с Пугачевым ему представляется «плодом позднейшей фантазии. Слова, приписанные Пугачеву, несообразны ни с характером, ни со складом ума бывшего самозванца, никогда не отличавшегося остроумием и находчивостью. Свидетели-современники, присутствовавшие при этом свидании, не упоминают ни слова о таких ответах» (там же, стр. 307—308). Разумеется, все эти «доказательства» настолько явно подчинены официальной концепции восстания, настолько примитивны в своей оценке первоисточников и лживы в своих заключениях о характерах конкретных исторических лиц, что ни в какой мере не могут подорвать версии Пушкина. Если эта версия покоилась и на предании, то предание это было прочно связано с тем, что запечатлелось в Симбирске в памяти народа о Пугачеве. О встрече Панина с Пугачевым см. также сводку документальных и мемуарных данных в примечаниях Н. Н. Фирсова к «Истории Пугачева» («Соч. Пушкина», изд. императорской Академии Наук, т. XI, П., 1914, стр. 302—304).

¹⁰⁷ Биографические сведения о П. М. Языкове (1798—1851) и о встречах его с Пушкиным осенью 1833 г. см. в примечаниях Л. Б. Модзалевского к «Письмам Пушкина», т. III, М.—Л., 1935, стр. 634—635. В одной из дорожных записных книжек Пушкина сохранились его заметки о Пугачеве, сделанные со слов старожилов, враждебных лагерю крестьянской революции. Записи эти, не утетенные в «Истории Пугачева», вошли в книгу «Рукою Пушкина» («Academia», Л.—М., 1935, стр. 340—341), но две первых из них расшифрованы неточно, искажая оригинал в очень существенных местах. Дасм эти записи в исправленной редакции, опубликованной нами в «Временнике Пушкинской комиссии», кн. 2, 1936:

Чугуны — Кар etc.

Васильс<урск> — пред<ание> о Пугачеве. Он в Курмыше повесил май<ора> Юрлова за смелость его обличения — и мертвого секли нагайками — Жена его спасена его крестьянами.

Сл<ышал> от старухи, сестры ее — жив<ущей> милостыню.

Пугачев ехал мимо копны сена — собачка бросилась на него — он велел разброс<ать> сено — Нашли двух барышен — он их, подумав, велел повесить.

Слышал от смотрителя за Чебоксарами.

¹⁰⁸ «Песни и сказания о Разине и Пугачеве». Вступительная статья, редакция и примеч. А. Лозановой. М.—Л., 1935, стр. 186 и 386—387. В работу эту, к сожалению, не вошли многие из записей фольклорных материалов о Пугачеве, сделанные Пушкиным во время его поездки в 1833 г. в Поволжье, Оренбург и Уральск. Некоторые из этих записей почти стенографически передают живую речь сказителей и точно отмечают их имена («Папков в Сорочинской», «Матрена в Татищевой», «В. Петр. Бабин. Казань», «Старуха в Берде» и т. п.). Вот, например, одна из этих записей, материалы которой были учтены поэтом в «Истории Пугачева» (гл. III и примеч. к гл. II и V) и в «Капитанской дочке» (гл. VII и IX):

«Пугачев на Дону таскался в длинной рубаше (турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды у казачки — и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал он одну дончиху, и дал ей горсть золота. Она не узнала его. По наговору Яицких казаков, велел он расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее — Перед смертию они сползлись и обнялись — так и умерли, и долго лежали в кустах. — Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги. — Когда под Тат<ищевой> разбили Пугачева, то Яицк<их> прискакало в Оз<ерную> израненных, — кто без руки, кто с разрубл. головою — человек 12, кинулись в избу Бунтихи — Давай, старуха, рубашек, полотенец, тряпья — и стали драть, да перевязывать друг у друга раны. — Старики выгнали их дубьем. А гусары галицынские и Корфа (?) так и ржут по улицам, да мясничат их. Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина каждый день прибрежди к берегу, пригребала палкою к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая: — Ты ли, Степушка, ты ли мое детище? Не твои ли черные кудри свежа вода моет? — Но видя, что не он, тихо отталкивала тело и плакала. — Пугачеву приводили ребят. — Он сидел между двумя казачками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву. — У Пугачева рука лежала на колене — подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его руку. — Пугачев в Яицке сватался за <в автографе пробел — для вставки имени>, но она за него не пошла. — Устинью Кузн<ецову> взял он насильно, отец и мать не хотели ее выдать: она де простая казачка, не королевна, как ей быть за государем. (В Берде от старухи).»

Первые эти записи опубликованы нами в изд. «Пушкин». Временник Пушкинской комиссии АН СССР, кн. 2, 1936, стр. 434—435; перепечатано в академ. изд. полн. собр. соч. Пушкина, т. IX, ч. 2, 1940, стр. 496—497. Новейший анализ фольклорных данных, относящихся к работе Пушкина над его романом и монографией о Пугачеве

сж. в работе Н. В. Измайлова «Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» («Пушкин. Исследования и материалы. Труды третьей Всесоюзной пушкинской конференции», М.—Л., 1953, стр. 266—297).

¹⁰⁹ «Путешествие из Петербурга в Москву». СПб., 1790, стр. 7 («София»). Как тонко отмечает в своей работе о «Капитанской дочке» В. Александров, в этой повести явственно и неслучайно все «поэтическое отдано пугачевцам, — они являются его носителями», причем «это не какая-то внешняя орнаментация. В этом весь пушкинский Пугачев». И далее: «Народное творчество не было для Пушкина каким-то нейтральным материалом, откуда можно заимствовать интересные частности, образы и обороты, безобидные декоративные мотивы для литературного вышивания. Пушкин воспринимал народное творчество с теми чаяниями и стремлениями, которые в этом творчестве выражались; он не соялся в этом творчестве того, что враждебно противостояло «дворянской братии». В этом и заключается величайшая победа народности в пушкинском искусстве. Вряд ли будет преувеличением сказать, что само пугачевское восстание было для Пушкина проявлением народного творчества» (В. Александров. «Пугачев. Народность и реализм Пушкина». «Литературный критик», 1937, № 1, стр. 26 и 43—44).

¹¹⁰ «Русская изба» (XI, 258). Впервые этот набросок опубликован был в «Сочинениях Александра Пушкина», т. XI, СПб., 1841, стр. 49.

¹¹¹ В. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, СПб., 1903, стр. 185. Впервые в «Отечествен. записках», № 5. Белинский писал под непосредственным впечатлением только что опубликованных набросков статьи Пушкина «Русская изба». См. примеч. 110.

¹¹² «Путешествие из Петербурга в Москву». СПб., 1790, стр. 128—129 («Зайцево»).

¹¹³ «Реестр, что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заниске» (автограф входит в наше собрание литературных документов с 1933 г.) скопирован был Пушкиным с архивного оригинала, местонахождение и полный текст которого историкам неизвестен. Связь «реестра» Буткевича с «Реестром царскому добру, раскраденному злодеями» в «Капитанской дочке» (гл. IX) впервые была отмечена нами в примечаниях к «Полн. собр. соч. Пушкина». изд. «Academia», т. IV, 1936, стр. 755. Самый автограф впервые опубликован в пушкинском выпуске газеты Саратовского Государственного Университета «Сталинец» от 7 июня 1949 г., № 16.

¹¹⁴ «Капитанская дочка», гл. IX (VIII, ч. 1, 335—336). В белой рукописи этой главы строки, посвященные реестру, не имеют сколько-нибудь существенных отличий от печатной его редакции (VIII, ч. 2, 883).

¹¹⁵ «Выбранные места из переписки с друзьями» («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность») — Н. Гоголь, Соч., изд. 10, т. IV, М., 1889, стр. 186. Из откликов на «Капитанскую дочку» ее первых читателей особенно интересны суждения кн. В. Ф. Одоевского в письме его к Пушкину от последних чисел декабря 1836 г.: «Вот критика не в художественном, но в читательском отношении: Пугачев слишком скоро после того как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость; увеличение слухов не довольно растянуто — читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, когда она уже и взята. Семейство Гриневых

хотелось бы видеть еще раз после всей передраги; хочется знать, что скажет Гринев, увидя Машу с Савельичем. Савельич — чудой! Это ведь самое трагическое, т. е. которого больше всех жалко в повести. Пугачев чудесен; он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева» и пр. (XVI, 195—196; письмо неправильно отнесено в академ. изд. к «концу ноября—началу декабря 1836 г.»). О других откликах современников Пушкина см. выше, примеч. 35.

¹¹⁶ Г. А. Гуковский, характеризую особенности творческого метода Пушкина-романиста, очень убедительно популяризировал свои заключения о том, что в «Дубровском» и в «Капитанской дочке», как и в других прозаических произведениях Пушкина тридцатых годов, «самый конфликт, даже самый сюжет, как и характеристика действующих лиц и их взаимоотношений между собою, определены социально-дифференцированной культурой, породившей и воспитавшей их. Сама же эта социальная дифференциация понята не только как различие социальных слоев данной нации, но и как борьба их, как вражда социальных противников — классов общества. Так в борьбе противостоят друг другу помещики-дворяне и крестьяне, богатые помещики-магнаты, созданные деспотией, и небогатые дворяне, чуждые нравам двора, сохраняющие патриархальные понятия о чести» и т. д. Далее, говоря о «Капитанской дочке», Г. А. Гуковский напоминает, что в этом романе «авторским сочувствием или обаянием могучей внутренней правды овеяны только люди «низов» — сам Пугачев, вся семья Мироновых (капитан Миронов, «вышедший в офицеры из солдатских детей», был человек необразованный и простой), Савельич и даже Хлопуша. При этом люди «низов» освещены светом сочувствия, независимо от того, в каком они лагере — повстанческом или борющемся против него: в обоих случаях они несут в себе начало правды. Наоборот, люди «верхов» осуждены — тоже независимо от того, примкнули они к Пугачеву или сражаются с ним <...> Глубоко понимаемая социальные пружины «пугачевщины» и оправдывая ее даже в ее жестокости — жестокостью режима, против которого восстали пугачевцы, строя сюжет таким образом, что мужицкий царь дал герою право и счастье, которых ему не дали императорские чиновники, Пушкин не пропагандировал крестьянский сунт, считая его, как и во времена создания «Бориса Годунова», бесперспективным, бессмысленным. Но его анализ событий был не только социален, но и демократичен в степени, совершенно недоступной Гизо или Тьерри; а созданные им образы героев в самой сути своей психологии, своей духовной эволюции, своих характеров определены историко-социально, в мере, недоступной ни одному историческому романисту до него, в том числе и Вальтеру Скотту» (Г. А. Гуковский, Пушкин и проблемы реалистического стиля, 1957, стр. 368 и 373).

¹¹⁷ Время выхода в свет четвертой книжки «Современника» за 1836 г., в которой опубликована была «Капитанская дочка», точно не установлено. На это литературное событие не откликнулся ни один журнал, ни одна из петербургских и московских газет. Даже «Северная пчела», регулярно отмечавшая в своей хронике или в объявляемых книгопродавцев поступление в продажу очередных номеров всех литературных журналов, обошла молчанием появление «Капитанской дочки». В переписке Пушкина сохранилось два упоминания о четвертой книжке «Современника», но оба эти свидетельства не имеют дат.

Неудивительно, что и библиографический справочник Н. Свияжского и М. Цвяловского «Пушкин в печати», определяя время выхода в свет последней книжки «Современника», ограничился условной датировкой: «Во второй половине ноября — в декабре» («Пушкин в печати 1814—1837», издание 2-е, исправленное. М., 1938, стр. 132). Эта справка основывалась на дате цензурного разрешения четвертого тома, подписанного к печати 11 ноября 1836 г. Вероятно, на этой же дате основано было полвека спустя и глухое упоминание П. И. Бартенева о том, что последняя книжка «Современника» появилась «в исходе ноября» («А. С. Пушкин», вып. II, М., 1885, стр. 84).

Отсутствие точных данных о времени выхода в свет «Капитанской дочки» заставляет нас с особым вниманием учесть все косвенные свидетельства об этом. В их ряду наиболее авторитетными являются отметки в дневниках и в письмах А. И. Тургенева, который день за днем в течение последних двух месяцев 1836 г. регистрировал все новости великосветской, литературной и научной жизни Петербурга. Как старый друг Пушкина и один из ближайших сотрудников его журнала, А. И. Тургенев раньше, чем кто-либо другой, должен был откликнуться и на выход в свет четвертой книжки «Современника».

И действительно, записи в дневнике А. И. Тургенева от 24, 25 и 26 декабря являются самыми ранними из известных нам свидетельствами о последней книжке «Современника» (П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, 1928, стр. 281). 24 декабря А. И. Тургенев беседовал о ней с П. А. Вяземским и тогда же приступил к чтению «Капитанской дочки»; 25 декабря он поделился впечатлениями от нового номера «Современника» с самим Пушкиным; 26 декабря он рекомендовал познакомиться с четвертой книжкой «Современника» К. А. Булгакову и в тот же день отправил этот том журнала в Москву («Письма А. Тургенева Булгаковым», М., 1939, стр. 202).

Все эти записи свидетельствуют о том, что четвертая книжка «Современника» явилась между 24 и 26 декабря самой злободневной новинкой, известной ближайшему окружению Пушкина в Петербурге, и еще не успевшей дойти до Москвы. Поэтому мы и полагаем, что, если А. И. Тургенев получил свой авторский экземпляр четвертого тома «Современника» 24 декабря, то временем выхода в свет «Капитанской дочки» можно считать или этот самый день, или день предшествующий. Это наше предположение было подтверждено впоследствии документами, обнаруженными Н. И. Фокиным в архиве С.-Петербургского цензурного комитета: билет на выпуск в свет четвертого номера «Современника» был подписан 22 декабря 1836 г. («Ученые Записки Уральского пединститута», 1957, стр. 124).

Таким образом, и недатированная записка Пушкина к В. Ф. Одоевскому с запросом: «получили ли вы 4 № Современника и довольны ли им?» должна быть отнесена к последним числам декабря 1836 г. К этим же дням должны быть приурочены и критические замечания В. Ф. Одоевского о «Капитанской дочке», посланные им Пушкину в ответ на его запрос (XVI, 195—196). Эту датировку подтверждает и рассказ А. А. Краевского о том, как он вместе с Пушкиным присутствовал 29 декабря 1836 г. на годовом акте в Академии наук: «Пред этим только что вышел четвертый том «Современника» с «Капитанской дочкой», — вспоминал Краевский — В передней комнате Академии пред залом Пушкина встретил Греч — с поклоном чуть не в ноги: «Батюшка, Александр Сергеевич, исполать вам! Что за пре-

лесть вы подарили нам! — говорил с обычными ужимками Греч. — Ваша Капитанская дочка чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с губернатором? Ведь книжку-то наши дочери будут читать! — «Давайте, давайте, им читать!» — говорил в ответ, улыбаясь, Пушкин» («Русская старина», 1880, № 9, стр. 220).

В тот же день, то есть 29 декабря 1836 г., Пушкин дал письменное распоряжение о выдаче 25 экземпляров четвертой книжки «Современника» для книжного магазина А. Ф. Смирдина («Читатель и писатель», 1928, № 4—5, стр. 2). Первая же печатная информация о чьей книжке «Современника» появилась лишь месяц спустя. Мы имеем в виду две строчки в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» 1837 г. о публикации «в IV томе «Современника» на 1836 г. превосходной повести Пушкина «Капитанская дочка» (№ 5 от 30 января 1837 г., стр. 48). Эти строки помещены были в разделе «Замечательные явления в русской журналистике» и дошли до читателей уже после смерти поэта. Других откликов на «Капитанскую дочку» в печати не было до 1838 г.

Ю.Г. ОКСМАН

От „Капитанской дочки“

К „Запискам охотника“

ПУШКИН—РЫЛЕЕВ—КОЛЬЦОВ—
БЕЛИНСКИЙ—ТУРГЕНЕВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

САРАТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1959